

Этой девочке со странной внешностью
суждено было стать легендарной
мадам Тюссо

Эдвард Кэри

ВРОЖДА



Литературные хиты: Коллекция

Эдвард Кэри

Кроха

«ЭКСМО»

2018

УДК 821.111-311.6
ББК 84(4Вел)-44

Кэри Э.

Кроха / Э. Кэри — «Эксмо», 2018 — (Литературные хиты:
Коллекция)

ISBN 978-5-04-106545-4

Маленькая девочка со странной внешностью по имени Мари появляется на свет в небольшой швейцарской деревушке. После смерти родителей она остается помощницей у эксцентричного скульптора, работающего с воском. С наставником, властной вдовой и ее запуганным сыном девочка уже в Париже превращает заброшенный дом в выставочный центр, где начинают показывать восковые головы. Это начинание становится сенсацией. Вскоре Мари попадает в Версаль, где обучает лепке саму принцессу. А потом начинается революция... «Кроха» – мрачная и изобретательная история об искусстве и о том, как крепко мы держимся за то, что любим.

УДК 821.111-311.6

ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-04-106545-4

© Кэри Э., 2018

© Эксмо, 2018

Содержание

Предыстория	7
Глава первая	8
Глава вторая	13
Книга первая	17
Глава третья	18
Глава четвертая	31
Глава пятая	36
Глава шестая	40
Глава седьмая	46
Глава восьмая	50
Книга вторая	54
Глава девятая	55
Глава десятая	65
Глава одиннадцатая	71
Глава двенадцатая	77
Глава тринадцатая	80
Глава четырнадцатая	85
Конец ознакомительного фрагмента.	88

Эдвард Кэри Кроха

Посвящается Элизабет

**Edward Carey
Little**

* * *

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Copyright © 2018 by Edward Carey

Illustrations © 2018 by Edward Carey

© Алякринский О., перевод на русский язык, 2020

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020

* * *

Удивительная жизнь и подлинные приключения служанки по прозвищу

КРОШКА,

в которых были путешествия по трем странам, утраченные дети, утраченные родители, привидения в обезьяньем обличье, портновские манекены, деревянные куклы, муляжи людей, один король, две принцессы, семь докторов, человек, который исходил Париж вдоль и поперек; человек, который изображал витринных кукол, а его мать была важной персоной; человек, который коллекционировал убийц; знаменитые философы, герои и монстры, причем все весьма значительные люди; несколько домов, из коих каждый последующий был больше предыдущего; успехи, неудачи, большая семья, события исторической важности, знаменитые люди, обычные люди, любовь, ненависть, резня невинных, засвидетельствованные убийства, расчлененные тела, реки крови на улицах, невзгоды, тюрьма, утрата всего, брак, живые и незабываемые воспоминания, ежедневно случавшиеся несчастья, которые стали историей, описанной ею самой.

А ТАКЖЕ:

зарисованной ее рукой

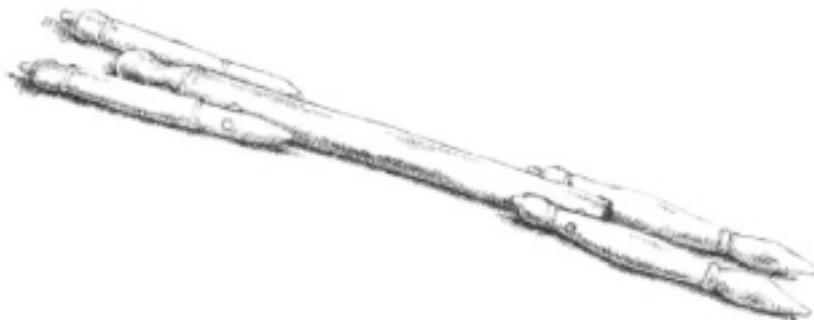
Графитовым карандашом, углем, черным мелом.



Вот как выглядел ее карандаш.

Предыстория 1761–1767 Деревенька

Со дня моего рождения до того, как мне исполнилось шесть лет.



Глава первая

в которой я появляюсь на свет и рассказываю про маменьку и папеньку

В том самом году, когда пятилетний Вольфганг Амадей Моцарт сочинил менуэт для клавиесина; в том самом году, когда британцы отбили у французов Пондишерри в Индии; в том самом году, когда были опубликованы ноты песни «Мерцай, мерцай, звездочка, в ночи»; в том самом году, а именно в 1761-м, покуда люди в парижских салонах рассказывали сказки о звездах в замках, и о мужчинах с синими бородами, и о красавицах, которые спали и все никак не могли пробудиться, и о котах, обутом в сапоги, и о хрустальных туфельках, и о мальчиках с хохолком в волосах, и о девочках, завернутых в ослиную шкуру, и покуда жители Лондона в своих клубах обсуждали коронацию короля Георга III и королевы Шарлотты, за сотни и тысячи миль от этих событий, в маленькой эльзасской деревеньке, в присутствии краснолицей повитухи, двух деревенских девок и перепуганной мамыши, на свет появилось дитя-недомерок.

Поспешно крещенную малютку назвали Анна-Мария Гросхольц, хотя потом меня именовали просто Мари. Я родилась размером с два маменькиных кулачка, сложенных вместе, и мало кто ожидал, что я долго протяну. И все же, пережив свою первую ночь, я, вопреки предсказаниям об обратном, преспокойно дышала всю первую неделю. Да и после того мое сердце продолжало мерно стучать без перебоев в течение первого месяца. Крошечное существо оказалось упрямым.

Оставшись одна, маменька родила меня восемнадцати лет от роду. Она отличалась небольшим росточком, меньше пяти футов, и к тому же была дочкой священника. Этот священник, мой дед, овдовевший во время эпидемии оспы, был крутого нрава – просто ходячий гнев в сутане, который ни на минуту не оставлял дочь без присмотра. После его смерти жизнь маменьки переменилась. К ней зачастили односельчане, и среди них был некий солдат, оставшийся холостяком в своем уже почтенном, по привычным меркам, возрасте. Этот солдат имел сдержанный темперамент, ибо повидал за свою жизнь немало жутких вещей и потерял многих друзей-однополчан, и он увлекся маменькой. Он надеялся, что они смогут обрести семейное счастье, так сказать, в своей печали. Ее звали Анна-Мария Вальтнер. А его – Йозеф-Георг Гросхольц. Они поженились. И позже стали моими родителями. В их жизнь пришла любовь, пришла радость.



У маменьки был крупный нос, в римском стиле. А у папеньки, в чем я себя позднее убедил, волевой подбородок, немного вздернутый кверху. Этот нос и этот подбородок вроде бы прекрасно подошли друг другу. Но вскоре, однако, папенькина увольнительная закончилась, и ему пришлось вернуться на войну. Маменькин нос и папенькин подбородок миловались всего три недели.

Я была плодом любви. И на моем лице всегда виднелась печать любви, связывавшей маменьку и папеньку. Ведь я родилась с носом Вальтнер и подбородком Гросхольца. Каждый из этих двух атрибутов был по-своему приметен и чудесным образом придавал характерность лицам обоих представителей этих фамилий; но вкуче результат получился не слишком выигрышный, словно я выпячивала больше плоти, чем полагалось. Дети растут по воле природы. Кто-то отличается буйным волосатым покровом головы, у кого-то в чересчур юном возрасте прорезываются зубы; у одних вся кожа в веснушках, у других кожа столь бледна, что их белая нагота пугает всякого, кому доведется ее лицезреть. Я прокладывала себе дорогу в жизни носом и подбородком. И, разумеется, в ту пору еще не знала, сколь диковинные тела мне суждено увидеть, в каких огромных зданиях мне придется проживать, в какие кровавые собы-

тия я буду вовлечена, хотя, наверное, нос и подбородок подозревали о чем-то подобном. Нос и подбородок, чудесные доспехи для жизни. Нос и подбородок, верные компаньоны. Начать с того, что всегда в моей жизни была любовь.



Поскольку девочки моего происхождения не получали школьного образования, меня обучала маменька, при участии Господа. Моим букварем была Библия. Что до других премудростей жизни, я приносила из леса поленья и хворост для растопки, мыла тарелки и стирала белье, резала овощи, приносила с рынка мясо. Я подметала, чистила, носила. Я всегда была при деле. Маменька приучила меня к усердию. Если она бывала занята, это доставляло ей радость. Покончив с каким-то делом, маменька впадала в задумчивость, которую могло рассеять лишь новое дело, за которое она принималась. Она постоянно была в движении, и это вполне ее устраивало.

– Ты сама старайся находить себе занятие, – говаривала она. – Всегда что-нибудь да найдется. А потом настанет день, отец вернется и увидит, какой ты хороший и полезный ребенок.

– Спасибо, мама. Я буду полезной, я очень этого хочу.

– Ну что за создание!

– Это я? Создание?

– Ну да, мое собственное крохотное создание.

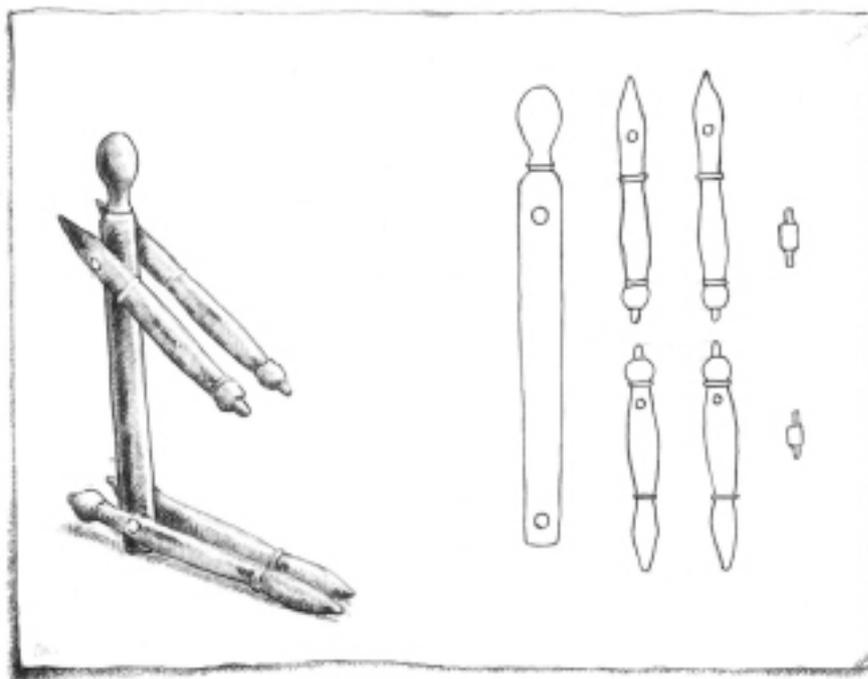
Маменька с необычайной энергичностью расчесывала мне волосы. Иногда трогала за щеку или похлопывала по капору. Она, возможно, была не красавица, но мне казалась красивой. У нее была крошечная мушка прямо под нижним веком. Жаль, я не могу вспомнить ее улыбку. Но я точно знаю, что улыбка у нее была.



К пяти годам я сравнилась ростом со старым псом из соседского дома. Потом я выросла настолько, чтобы дотянуться макушкой до дверных ручек, которые мне нравилось гладить. Еще позднее, когда я вовсе перестала расти, моя голова доходила людям до того места у них на груди, где находится сердце. Женщины из нашей деревушки, глядя на меня и целуя, порой шептали себе под нос:

«М-да, найти мужа будет не просто!»

На мой пятый день рождения дорогая маменька подарила мне куклу. Это была Марта. Так я ее назвала. Я изучила ее крошечное тело, которое было раз в шесть меньше моего, я изучила его все-все, двигая куклу по столу – иногда грубо, иногда с величайшей нежностью. Она попала мне в руки голенькой, без лица. На самом деле она состояла из семи деревяшек, которые надо было соединить в определенном порядке, чтобы получилось некое подобие человеческой фигуры. Марта, если исключить маменьку, была моим первым посредником в общении с миром, я с ней никогда не расставалась. Мы были счастливы вместе: маменька, Марта и я.



Глава вторая

Семейство Гросхольц

Папенька отсутствовал все ранние годы моей жизни, ибо армия постоянно находила новые и новые отговорки, дабы отсрочить получение им очередной увольнительной. И что же папенька мог с этим поделать? Бедный зонтик одуванчика вынужден лететь туда, куда его пошлет порыв ветра. Для нас же он был хоть и в отсутствии, но не в забвении. Порой маменька усаживала меня на широкий табурет у очага и рассказывала о папеньке. Мне доставляло немалую радость произносить это слово. Папенька! Порой, когда маменьки рядом не было, я тайком обращалась к плите, называя ее Папенькой, или к стулу, или к комоду, или к разным деревьям в лесу, я кланялась им и заключала их в объятия, репетируя его возвращение домой. Он присутствовал повсюду в нашей деревушке – в церкви, в коровьих загонах. Отец – человек праведный, говорила маменька. И таким вот папенька и остался бы в нашей памяти, не вернись он никогда.

Но настал день – и он вернулся. Реальный мой папенька был уволен по ранению, однако полученному не в бою, поскольку в Европе тогда никаких битв не было, а в результате случайного выстрела неисправной пушки на военном параде. Эту пушку повредило еще в сражении при Фрайберге в 1762 году, и ремонтировали ее, видать, спустя рукава, потому как единственное появление сего неисправного орудия нанесло невосполнимый урон моей жизни. Как-то во время воскресного парада – ставшего для сей пушки последним – ее зарядили, чтобы произвести салют, но что-то там в жерле перекошилось, заклинило, и орудие извергло вспять раскаленный фосфор, уголь, селитру да куски покореженного металла, и все это широким веером. И им накрыло папеньку, вот почему ему в конце концов позволили отправиться домой.

Маменька была вне себя от волнения и радости.

– Твой отец возвращается! Очень скоро он совсем выздоровеет. У меня такое предчувствие. Твой отец скоро будет дома, Мари!

Мужчину, вернувшегося к нам, пришлось подталкивать сзади. Прибывший папенька сидел в кресле на колесах. Папенькины желтые глаза слезились. Похоже, они не узнавали стоящую перед ним жену, и их выражение ни в малейшей степени не изменилось, когда маменька задрожала всем телом и застонала. Волос на его макушке не было: взорвавшаяся пушка снесла там кожу. Но что сразу бросалось в глаза при взгляде на сей жалкий обрубок в кресле на колесах, так это отсутствие нижней челюстной кости, самой крупной на человеческом лице, которую обыкновенно называют нижней челюстью.

И теперь я должна сделать признание: это ведь папеньке я обязана своим подбородком. А иначе разве бы я обладала столь горделивой и грубой особенностью внешности? До той минуты я никогда не видела папеньку, но, не видя его, желала иметь на своем теле некую его примету, дабы ежедневно убеждаться в том, что я его дочь, а он – мой папенька. И сейчас я не могу с уверенностью сказать – ведь ранние годы моей жизни остались в далеком прошлом, и прочие действующие лица уже давно покинули сцену, – сочла ли я, в каком-то пароксизме тоски, свой подбородок доставшимся от него даром лишь после его возвращения или же я так считала всегда. Но в тот момент меня напугало отсутствие у него подбородка, и я мечтала представить более полный образ человека, который был моим страдальцем-папенькой. Мне хотелось видеть его облик завершенным, и я воображала, будто мое лицо могло бы завершить его портрет, ибо представший моему взору человек выглядел несчастным обломком.

С возвращением папеньки мне был дан намек на мое будущее. Крохотное оконце распахнулось – и меня оттуда позвали.

Мужчина в инвалидном кресле хоть и был лишен нижней челюсти, но вместо нее ему вставили серебряную кюветку. Она имела форму нижней части самого обычного человеческого лица. Ее отлили по стандартному образцу, так что следовало признать, что еще несколько десятков несчастных мужчин обладали точно таким же серебряным подбородком, что и мой папенька. Кюветка была съемной. Папенька вернулся состоящим из двух частей, и эти части, с некоторым усилием, можно было приладить друг к другу.



Бедняга не понимал, где он находится. Он был неспособен узнать жену, как не мог понять, что маленькая девочка, которая безмолвно глазеет на него, – его собственная дочь. Себе в подмогу маменька наняла мою повитуху – сердобольную, вечно задыхающуюся женщину с полными руками, дорожившую всяким заработком, – и частенько обращалась к врачу из соседней деревни – доктору Зандеру. Совместными трудами они обустроили для папеньки комнатку за кухней, и, поселившись там, он оттуда уже не выходил. Он весь день лежал, глядя иногда в окошко, иногда в потолок, но едва ли, думаю, сосредотачиваясь на чем-либо конкретном. Я проводила долгие часы, сидя рядом с ним, и когда он со мной не говорил, вкладывала в его уста придуманные слова и рисовала себе в воображении его беседу со мной. После возвращения папеньки домой маменька поднялась по лестнице к себе в спальню и притворила дверь. Дни текли один за другим, и она все больше времени проводила в постели. Она уже не так, как прежде, старалась постоянно двигаться, а праздность ей никогда не шла на пользу. По словам доктора Зандера, мать пребывала в состоянии ярко выраженного шока, и ее следовало понемногу заставлять прийти в себя. После приезда папеньки все ее тело несколько изменилось: кожа приобрела блеск и желтизну, как у луковицы. Она начала источать новые

запах. Как-то утром зимой смотрю: лежит босая, едва одетая, во дворе и плачет. Я помогла ей добраться до постели.

Так я и бегала взад-вперед между родителями – от маменьки в спальне на втором этаже до папеньки в его каморке внизу, и обоим читала Библию. Я использовала широкий табурет, помогавший мне избегать неудобств из-за малого роста, чтобы располагаться около папенькиной кровати с разных сторон, в зависимости от его нужд. Я всегда находилась при нем, когда его мыли и обтирали. Повитуха обращалась со мной очень по-доброму, иногда обнимала и тесно к себе прижимала, а я дивилась, какими же огромными могут быть человеческие тела, и тоже обнимала ее так сильно, как только могла. Мы часто ели вместе, и, думаю, она даже делилась со мной своей пищей. Заговаривая со мной о папеньке, она озабоченно хмурилась, а если в разговоре упоминала о маменьке, печально качала головой.

Однажды утром, когда я сидела рядом с папенькой, он умер. Эта была какая-то робкая, смиренная, я бы сказала, смерть. Я глядела на него во все глаза. Он слегка вздрогнул и заходил ходуном, но только совсем капельку, а потом очень тихо, почти незаметно, покинул нас. На прощанье он издал легкий вздох, с которым из его головы вылетела последняя мысль. Я все еще сидела рядом, держа его за руку, когда вошла повитуха. Она сразу же поняла, что папеньку можно больше не считать за живого. Она аккуратно уложила одну его руку на грудь, а потом подхватила другую и уложила рядом, после чего, взяв меня за ручку, отвела в дом своей дочки. Должно быть, там я и провела ночь.

А спустя несколько дней папеньку похоронили. Но в гробу, на крышку которого нам сказали набросать земли, папенька лежал неполный. Доктор Зандер накануне похорон отдал мне его серебряную кюветку, сказав при этом, что она стоит хороших денег. Кюветка была увесистая, как жестяная кружка с водой. Я все гадала, не будет ли папенька без нее тосковать, и подумала, что, может, лучше бы она оставалась при нем. И мне даже захотелось раскопать его могилу и вернуть на место эту серебряную вставку. А как бы иначе он мог разговаривать на небесах? Но потом, все обдумав, я поняла: эта кюветка, по правде говоря, вовсе не папенькин подбородок. Ведь ее отлили по форме чьей-то чужой челюсти. Только у меня его настоящий подбородок, который всегда при мне – чуть пониже маменькиного носа.

После папеньки остались военная форма, серебряная кюветка, вдова, осиротевшая дочь и – безденежье. Его армейского пенсионера не хватало ни на что. Чтобы нам с маменькой не помереть с голоду, ей нужно было найти какую-никакую работу. Возложив все заботы на себя, доктор Зандер узнал через знакомых в медицинских кругах, что одному врачу, некоему Филиппу Куртиусу, работавшему в Бернской больнице, требуется домашняя прислуга. Работа и полезность, пообещал доктор Зандер, спасут здоровье маменьки.

И маменька с несчастным видом, всем своим блестящим телом излучая несчастье, села писать письмо доктору Куртиусу. Тот ответил. Когда маменька получила от него ответ, к ней снова вернулась ее прежняя резвость – она опять пришла в движение, причем куда живет прежнего, точно страшно боялась хоть на секунду остановиться.

– Весьма образованный господин, Мари! – широко раскрыв глаза, воскликнула она. – Городской житель, Мари! Он – городской врач! Больше мы не будем прозябать в темных комнатных хибарах сельской хибары. Мы сможем жить в просторных зданиях, где будет много воздуха, много света. Мой отец, твой дед, любил повторять, что мы заслуживаем лучшей жизни. И вот город! Куртиус из города!

И очень скоро, году этак в 1767-м, мы с маменькой сели в повозку и отправились в город Берн. В повозке я заняла место рядом с маменькой, вцепившись одной рукой за краешек ее платья, в другой руке сжимая папенькину серебряную челюсть, а Марта лежала в глубоком кармане подола. Семейство Гросхольц переезжало на новое место жительства. Повозка с грохотом катила по дороге, унося нас прочь от деревеньки, где я родилась, прочь от свинарника, от церкви и от папенькиной могилы.

Возвращаться мы не собирались.

Книга первая
1767–1769
Улица с односторонним движением

До той поры, как мне исполнилось восемь лет.



Глава третья

в которой мы с маменькой знакомимся со множеством диковинных вещей, кои отчасти содержатся в ящиках розового дерева, и мне приходится лицеизреть вторую в жизни смерть

Бернская ночь – это шеренги сумрачных высоких зданий по обеим сторонам узких неосвещенных улиц, и людские силуэты, которые теньями двигаются по ним. Бернская больница, по счастью, выросла из тьмы, возвышаясь громадой над соседними улицами. Нас высадили прямо перед зданием больницы и поставили на мостовую наш скромный багаж – рундук, некогда принадлежавший моему деду-священнику. Повозка с грохотом укатила, спеша вернуться в родную деревню. В центральной части Бернской больницы размещались огромные черные ворота, настолько широкие, что в них могли одновременно въехать две кареты – они казались зевом исполина, заглатывающего пациентов в свои бездонные таинственные недра. Вот к этим черным воротам и подошли мы с маменькой. Там висел колокольчик. Маменька позвонила. Эхо от его звона облетело пустую больничную площадь. И тут совсем рядом кто-то закашлял и сплюнул. В воротах распахнулся деревянный квадратик дверки. Появилась голова, но мы едва различили ее во тьме.

– Спасибо, не надо, – произнесла голова.

– Если позволите, – начала маменька.

– Зайдите утром!

– Если позволите... я приехала к доктору Куртиусу. Он меня ждет.

– Кто?

– Доктор Куртиус. Мы будем жить в его доме, моя дочка и я.

– Куртиус? Куртиус помер. Уж лет пять как.

– Вот письмо от него, – не сдавалась маменька. – Я получила его неделю назад.

Высунулась рука и схватила письмо; дверка снова закрылась. Мы расслышали голоса людей, переговаривавшихся по ту сторону ворот, но потом дверка опять распахнулась, и снова появилась та же голова.

– А, *этот* Куртиус! Это *другой* Куртиус. Никто еще не приходил и не спрашивал *этого* Куртиуса. Он тут не живет, его дом на Вельзерштрассе. Вы не знаете, где это? Вы сельские жители, да? Думаю, Эрнст вас проводит.

Тут мы услышали другой голос за воротами, а голова откликнулась:

– Проводишь, Эрнст! Да, раз я так сказал. Эрнст вам покажет! Сверните за угол, найдите боковую дверь. В двери увидите фонарь, им будут махать. С фонарем будет стоять Эрнст.

Дверка снова закрылась, и Эрнст вышел нам навстречу, одетый в черный сюртук больничного привратника. Нос у него был скособолен, то есть вывернут на сторону, а переносица осталась на лице там, где находилась с рождения. Сразу было видно, что в молодости он не раз дрался.



- Куртиус? – переспросил Эрнст.
- Доктор Куртиус, – ответила маменька.
- Куртиус, – повторил Эрнст, и мы двинулись в путь.

В пяти минутах ходу от больницы находилась узкая неприглядная улочка. Это и была Вельзерштрассе. Бредя по ней той ночью, я представляла себе, как дома тихо бормочут, обращаясь к нам: «Не останавливайтесь! Идите своей дорогой! Прочь с наших глаз!»

Наконец Эрнст остановился возле узкого домишки, бедноватого на вид и неухоженного, безжалостно зажатого между двух каменных соседей.

- Вот дом Куртиуса, – объявил Эрнст.
- Этот? – удивленно произнесла маменька.

– Именно этот, – подтвердил Эрнст. – Я сюда как-то заходил. Но больше ни за что не войду! Не стану рассказывать, что там внутри, но поверьте, мне там не понравилось. Нет, от Куртиуса лучше держаться подальше. Вы меня простите, если я вас оставлю, прежде чем вы постучите в его дверь?

И Эрнст со скособоченным носом удалился, зашагав поспешнее прежнего и унеся с собой фонарь.

Мы поставили свой рундук на землю. Маменька села на него и поглядела на дверь, словно в надежде, что она заперта. Так что мне пришлось подойти и трижды постучать. Потом еще раз. Наконец дверь отворилась. Но никто не выглянул наружу. Дверь так и осталась нараспашку, и нас так и не вышли встретить. Мы с маменькой немного подождали, пока я не стала дергать ее за руку, и наконец она собралась с духом, и мы с рундуком зашли внутрь.

Маменька тихо затворила за нами дверь, а я крепко зажала ладошкой подол ее платья. Мы оглядывались во мраке. Вдруг маменька, задохнувшись, воскликнула:

- Что это?

Кто-то притаился в темном углу. Это был очень худой и очень высокий мужчина. Он был так худ, что казалось, находился на грани голодной смерти, и так высок, что его голова едва

не упиралась в потолок. На его бледном, словно призрачном, лице, освещаемом мерцающим светом свечи, во тьме виднелись черные провалы вместо щек, влажные глаза и клочки темных сальных волос. Мы замерли позади рундука, точно за крепостной стеной.

– Я приехала к доктору Куртиусу, – разъяснила маменька.

Ответом ей было долгое молчание, но голова чуть заметно кивнула.

– Я хотела бы его видеть, – продолжала она.

Голова издала некий звук. Должно быть, «да».

– Я могу его увидеть?

Тихо, медленно, словно речь шла о странном совпадении, голова произнесла:

– Куртиус – это *мое* имя.

– А я Анна-Мария Гросхольц, – промолвила маменька, стараясь совладать с охватившим ее волнением.

– Да, – отозвался худой мужчина.

После того как все представились друг другу, снова повисло молчание. Наконец стоящий в углу мужчина очень медленно заговорил:

– Я... видите ли... я не слишком привык общаться с людьми. В последнее время у меня было мало практики. Я весьма отвык... от этой практики. А ведь нужно пребывать в окружении людей, нужно, чтобы было с кем поговорить... иначе вы позабудете, понимаете, каковы они... в реальной жизни. И, так сказать, что с ними делать. Но теперь все изменится. С вашим присутствием в этом доме. Не так ли?

Наступило еще более тягостное молчание.

– Наверное, если вы готовы... мне стоит сразу показать вам дом?

Маменька с крайне несчастным выражением лица кивнула.

– Да, наверное, вам тут понравится. Я рад, что вы приехали. Добро пожаловать! Я хотел вам это сказать: добро пожаловать! Я хотел сказать вам эти слова, как только вы вошли. Я же их приготовил. И думал о них весь день. Но потом, гм, позабыл. Я не привык, понимаете, не привык... – бормотал доктор, медленно отлепившись от своего угла. Казалось, он, такой высоченный и худющий, весь был составлен из очень длинных прутьев или палок, постепенно выпрастывая себя во всю длину, как паук распрямляет лапы. Мы последовали за ним – правда, держась на расстоянии.

– Для вас есть комната наверху, – сообщил Куртиус, махнув горящей свечой в потолок. – Она только для вас. Я никогда не поднимаюсь наверх. И очень надеюсь, вам там понравится. – И добавил чуть увереннее: – Прошу, вот сюда!

Доктор Куртиус толкнул дверь в стене, и мы свернули в короткий коридорчик. Коридорчик упирался в другую дверь, с тусклой полоской света под ней. Должно быть, именно там и находился доктор Куртиус, когда я постучала в дверь.

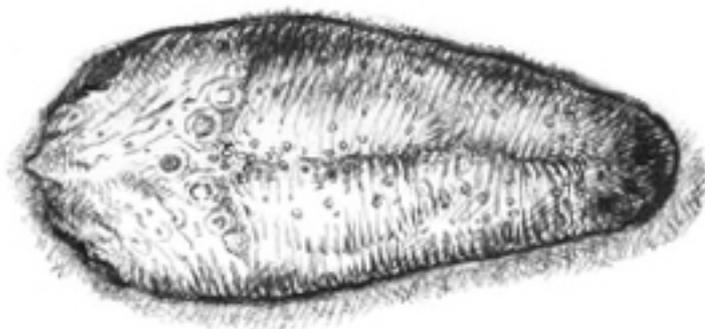
– Это моя рабочая комната, – подтвердил мою догадку доктор Куртиус. Он остановился перед дверью, и мы чуть не ткнулись в его длинную узкую спину. Он замер, полностью выпрямившись, насколько это ему удалось, потом проговорил медленно и четко:

– Прошу вас, входите!

В комнате горело с десятков или около того свечей, пламя которых, хотя и было скрыто защитными абажурами, красиво освещало помещение, настолько захлащенное, что сразу было и не разобрать, где что. На длинных полках стояли ряды закупоренных пробками склянок с разноцветными порошками. На других полках, покорооче, теснились совсем другие сосуды – пузатые, с внушительными стеклянными затычками, предупреждавшими о ядовитом характере налитых в них жидкостей – черных, коричневых или прозрачных. Там же стояли коробки, набитые вроде бы щетиной, похожей на человеческие волосы – а может, это они и были. По всей длине огромного верстака громоздились разнообразные медные лохани и сотни маленьких лопаточек для лепки самой различной формы: одни остроконечные, другие изогнутые,

одни не больше булавки, другие, напротив, размером с мясницкий тесак. В центре верстака, на деревянной доске, находился бледный продолговатый предмет. Он там лежал и сох. С первого взгляда трудно было понять в точности, что это такое. Мясной обрезок? Куриная грудка? Нет, не то, но все же в нем было нечто такое знакомое, такое привычное. Это было что-то такое... его название буквально вертелось у меня на языке. Вот именно! На верстаке лежал самый настоящий язык! Который сильно смахивал на человеческий. И я подумала: если это и впрямь язык, то как он сюда попал и где сейчас тот, кто его потерял?

В комнате помимо этого языка было полным-полно удивительных вещей. Самые диковинные предметы в мастерской Куртиуса, как я потом поняла, размещались в многочисленных витринах-ящиках из розового дерева с четкими надписями на этикетках, которые несколькими рядами тянулись вверх и вниз, влево и вправо по всей стене. Этикетки пестрели словами, выведенными коричневой тушью каллиграфическим почерком: *ossa, neurocranium, columnae vertebralis, articulatio sternoclavicularis, musculus temporalis, bulbus oculi, nervus vagus, organa genitalia*. А рядом с языком на верстаке лежала еще одна этикетка, на которой было одно слово: *lingua*¹.



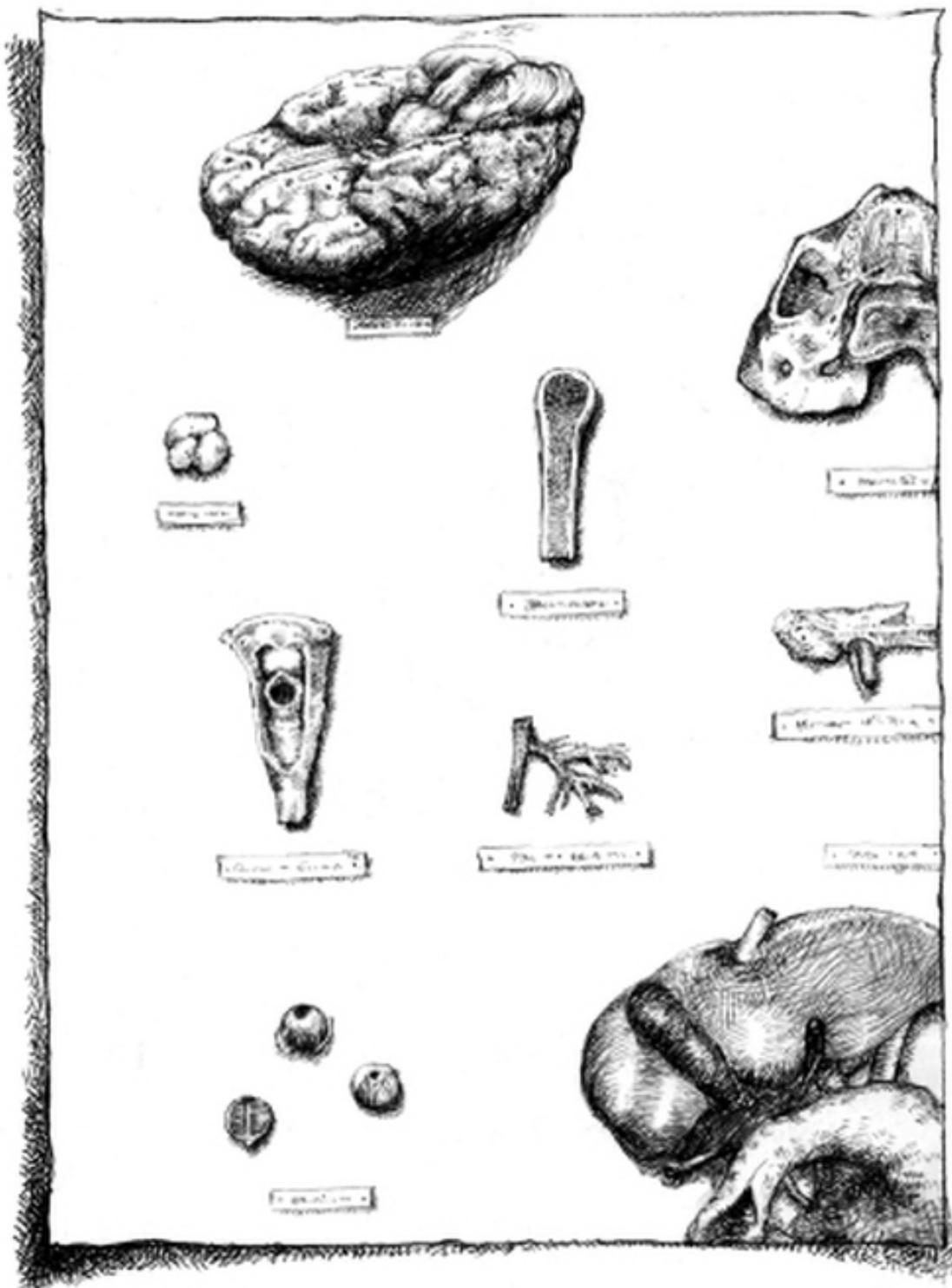
И тут я догадалась: это же части тела. Комната была заполнена ими. И я, крохотная девочка, во все глаза разглядывала части человеческого тела.

Нас словно познакомили друг с другом: куски человеческого тела, эту девочку-крошку зовут Мари. Девочка-крошка по имени Мари, а это – куски тела. Я держалась позади маменьки, все еще вцепившись в ее платье, но не могла оторваться от представшего моему взору зрелища.

Тут Куртиус заговорил:

– Урогенитальный тракт. Со свисающим мочевым пузырем. Кости. От бедренной – самой крупной и прочной в скелете, до слезной – мельчайшей и наиболее хрупкой кости лица. – Он обвел комнату взглядом. – И разные мышцы. Все снабжены этикетками. Десять групп головных мышц, от затылочно-лобной до медиально-крыловидной. Еще есть множество отрезков артерий, от верхней щитовидной до сонной, а также и вены: мозжечковая, подкожная, селезеночная, желудочная, сердечная и легочная. Есть у меня тут и органы! Каждый по отдельности лежит на красной бархатной подложке или выставлен вместе со своими соседями на деревянных подставках. Чрезвычайно сложный костный лабиринт уха. Или тугое сплетение кишечника, как тонкого, так и толстого, – неимоверно длинного и извилистого!

¹ Латинские названия частей и органов человеческого тела: кости, черепная коробка, позвоночник, грудинно-ключичный сустав, височная мышца, глазное яблоко, блуждающий нерв, половые органы, язык.



Маменька тоже взирала на содержимое комнаты, и, судя по ее виду, ей стало дурно. Куртиус, должно быть, заметил, что ее охватил ужас, потому что теперь он поспешно продолжал:

– Это все я сделал. Я их сам сделал. И костный лабиринт, и желчный пузырь, и желудочки сердца. Все сделал я. Все это только копии, муляжи. Я вовсе не хотел... Я не привык... Я вынужден извиниться. Что вы можете обо мне подумать! Не думайте, что они... настоящие! Они, разумеется, выглядят как настоящие. Они же похожи на настоящие? Скажите: да! Сами видите: вы должны сказать «да»! О да, совсем как настоящие, но они не настоящие. Нет! Хотя и выглядят так. Да. Потому что, по существу, понимаете ли, я их создал!

Мы с маменькой глядели на него. Нас так изумили удивительные предметы в этой комнате, что поначалу мы забыли попристальнее взглядеться в главную здешнюю достопримечательность – самого доктора Куртиуса при полном освещении. Куртиус, как теперь выяснилось, был молодым человеком, во всяком случае, моложе маменьки. Наблюдая, как его длинная темная фигура движется во мраке, я сочла его стариком, но тут я удостоверилась, что он долговязый и худой, робкий и увлеченный – и молодой и что говорит он с придыханием от возбуждения. Его худощавое туловище всеми своими шестью футами с лишком возвышалось над нами, его тонкие ноздри слегка трепетали от волнения. Он был нескрываяемо горд своей мастерской и явно наслаждался тем, с каким изумлением мы разглядываем плоды его труда. Когда он дышал, его ввалившиеся щеки не раздувались, длинный нос, точно натянутая бечевка, тянулся вдоль лица. Вены, толстые и тонкие, набухли на висках. Ну и, наконец, крупные изящные руки этого странного человека лежали, скрещенные, на узкой груди. Я поначалу решила, что он молится про себя, но вместо того он захлопал в ладоши. Звук был негромкий и напоминал взволнованное тихое постукивание – так малый ребенок ликующе отзывается на обещание дать ему что-то вкусненькое, и радостные хлопки звучали весьма неуместно в этой комнате. Верхняя часть его туловища слегка склонилась над хлопающими ладонями, точно это были не руки, а некая бледная птица, отчаянно бьющаяся в силках прямо перед его сердцем, и он тревожился, как бы она не вырвалась на волю.



– Это все я. Я их сделал. Все до единого. Из воска. Своими руками. Вообще-то их куда больше. Здесь вы видите лишь малую толику. Основная часть коллекции хранится в больнице, и там ее часто осматривают.

Когда доктор Куртиус завершил свою ознакомительную речь, я обернулась к маменьке. Ее лицо побледнело и покрылось испариной. Она ни слова не могла вымолвить. Так мы втроем стояли в полном молчании, пока Куртиус – мне показалось, немало разочарованный, – поинтересовался, не желаем ли мы поспать после долгого путешествия.

– Мы очень устали, сударь мой, – сказала маменька.

– Тогда доброй ночи!

– О, простите меня, сударь, – вспомнила она. – Наши документы. Полагаю, вы хотите их забрать.

– Нет, нет, не стоит. Прошу вас, держите их у себя.

Я последовала за маменькой, которая поволокла рундук вверх по лестнице и, войдя в нашу комнатушку, поспешила закрыть за нами дверь. Мы слышали, как Куртиус внизу меряет шагами свою комнату. Маменька села к окну и довольно долго смотрела наружу. Она держалась так тихонько, что я испугалась, не вернулась ли к ней прежняя болезнь. Наконец я помогла ей дойти до нашей кровати. В ту первую ночь на новом месте мы не сомкнули глаз до утра. Маменька обнимала меня, а я, в свою очередь, сжимала в объятьях Марту. Так мы и встретили рассвет, держась друг за дружку. Три ужасно взволнованные маленькие женщины.

Прежде чем мы спустились вниз, маменька мне сказала:

– Теперь мы в одной упряжке, ты и я. Понимаешь? Нам придется вести себя так, чтобы никоим образом его не рассердить. Если он нас выгонит, мы пропали! Пока мы остаемся в услужении у доктора Куртиуса, мы можем как-то существовать. Прислуживай ему хорошо, доченька!

Когда я по старой привычке ухватила за маменькин подол, она тихо и печально произнесла:

– Не надо!

Маменька взяла ключи от дома. Мы мыли полы. Маменька стряпала. Мы ходили на рынок за провизией, но рынок ее пугал. Улицы были запружены людьми, но дело не только в этом. Выставленные на продажу продукты – все эти вспоротые и выпотрошенные мясные туши на крюках, все эти животные, разрубленные на части или целиком подвешенные за задние ноги, и целые птицы с обмякшими шеями и окровавленными клювами, болтающиеся на веревках, точно преступники на виселице, а еще глаза рыб, и тучи мух, и руки живых людей, все в крови, трогающие эти куски мяса, – все это постоянно напоминало маменьке увиденное ею в мастерской доктора Куртиуса.

Но, во всяком случае, в доме доктора царили тишина и покой. Сам Куртиус весь день оставался у себя в мастерской и редко оттуда выходил. Когда же появлялся, то казалось, ему было весьма удивительно видеть нас в своем доме.

– Не привык, *не привык*, – шептал он и исчезал в мастерской. Когда пришло время обеда, маменька поставила еду на поднос, ее вальтнеровский нос неодобрительно поморщился, она долго держала поднос высоко над кухонным столом, потом ее передернуло, отчего суп немного расплескался. Тогда я подвела ее к стулу, усадила, а сама отнесла поднос доктору Куртиусу. Он стоял, склонившись над столом, являя живую картину, изображающую три языка: настоящий отрезанный язык, его безупречную восковую копию и собственный язык доктора, торчащий между его губ, – он всегда высовывал язык, когда работал.

– Суп, сударь мой, – объявила я.

Он никак не отреагировал. Я оставила ему тарелку и затворила дверь. Суп стоял нетронутый, когда чуть позже в тот же день я вошла в мастерскую со словами: «Жаркое, сударь мой!» По правде сказать, суп стоял нетронутый всю первую неделю. Дважды Куртиус входил в кухню и говорил маменьке:

– Я так рад, что вы здесь, так рад, я просто *счастлив*...

И дважды маменькины руки тянулись к распятию на ее груди.

Во вторую неделю, когда мы, по моему разумению, немного попривыкли друг к другу, мы с маменькой вздрогнули на стук в дверь. Это был посыльный из больницы, облаченный, как и Эрнст, в черный сюртук, только звали его Генрих. У Генриха был видный нос, а остальные черты лица совершенно невзрачные; теперь я почти не помню ни его лица, ни его самого, кроме разве что его невыразительного имени.

– Посылка для Куртиуса, – сообщил Генрих, представившись. – Я обычно доставляю ему посылки, так что мы с вами будем часто видеться. Так-с, посмотрим, что у нас тут сегодня? – он приподнял крышку с коробки и тронул пальцем лежащий внутри, завернутый в мягкую ткань предмет. – Полагаю, кусок внутренностей покойника.

Маменька закрыла глаза и перекрестилась. Я шагнула вперед, припомнив ее слова о том, что мне надо быть полезной, и потянулась к коробке. Генрих поглядел на меня с сомнением.

– Благодарю вас, – сказала я, решительно вытянув обе руки. – Благодарю вас!

Когда Генрих неохотно передал мне коробку, маменька поспешно закрыла за ним дверь. Она на мгновение остановила на мне взгляд, точно перестала меня узнавать, после чего скрылась за дверью кухни. Я пошла за ней, намереваясь спросить, нужно ли отнести посылку доктору. Она энергично кивнула и взмахом руки попросила меня вместе с коробкой вон. И я понесла ее в мастерскую.

– Куски внутренностей, сударь! – объявила я, уместив коробку на ту часть верстака, куда обычно ставила тарелки с едой. На сей раз доктор Куртиус соизволил поднять на меня глаза.

Маменьке работа давалась все с большим трудом. Она частенько садилась в кухне, держась за небольшое нательное распятие. Мухи в доме Куртиуса – а мухи там роились тучами всегда и повсюду – приводили ее в паническое состояние, ведь они беспрепятственно летали по всем помещениям, проникая и в мастерскую, и уж оттуда по всему дому разносили известия о происходящем в мастерской. Маменька сидела неподвижно, с закрытыми глазами, но при этом бодрствовала, а я носилась как заводная, исполняя ее указания.

Спустя два дня после того, как я отнесла коробку доктору Куртиусу, мы сидели у очага на кухне, и маменька читала мне Библию. Тут вошел доктор Куртиус, тихонько постучав в дверь.

– Вдова Гросхольц, – сказал он, и маменька закрыла глаза. – Вдова Гросхольц, – повторил он. – Я бы хотел, если вас это не затруднит, вдова Гросхольц... я так рад, кстати сказать, как мы хорошо уживаемся и как все мы довольны... Я, гм, весьма рад, что у нас сложилось такое... общество и как мы хорошо ладим, и что мы стали добрыми компаньонами, и у нас образовалось маленькое общество, и я бы хотел, да, чтобы вы немного помогли мне в мастерской. Я могу вас об этом попросить? Было бы очень хорошо, полагаю, начать с завтрашнего дня. Это было бы прекрасно. Я бы хотел показать, как следует обращаться с моими произведениями, чтобы не повредить их. Я бы хотел, понимаете ли, должным образом познакомить вас с ними. Я уверен, вам понравятся ваши новые обязанности. Вы в мгновение ока поднаберетесь опыта в этом деле.

Доктор Куртиус заметил, как маменька слегка кивнула. Но меня она не могла провести. Маменькин кивок скорее был нервной дрожью, неправильно истолкованной доктором.

– Тогда доброй ночи. Благодарю вас, – сказал он на прощанье.

В ту же ночь, когда мы вернулись в нашу комнатку на чердаке, маменька, уложив меня в кровать, поцеловала в лоб.

– Будь полезной, Мари. Ты очень хорошая дочка. Прости, но я не могу. Я старалась, но не могу.

– Не можешь что, маменька?

– Будь хорошей девочкой, помолчи. Доброй ночи, Мари.

– Доброй ночи!

Потом маменька наказала мне закрыть глаза, чтобы я побыстрее уснула.

Зажмурь глазки, сказала она мне, и отвернись к стене. Послушавшись, я сквозь дрему услышала, как она перекладывает вещи, снимает простыню с кровати, двигает стул. Потом я уснула.

А когда проснулась, свеча отгорела. Было раннее утро. Маменьки не было в кровати рядом со мной. Комнату заливал бледный, голубоватый свет. В рассветном сумраке я могла различить что-то темное, свисающее с потолочной балки. Я не могла припомнить, что видела там этот предмет раньше. Это была маменька. Она повесилась.

Обеспокоившись, я сжала маменькину ступню ладошкой, но ее голая ступня не дала мне утешения. Ведь в конечном счете это была просто ледяная нога, и этот холод стал жутким подтверждением, что моя маменька скончалась. В смерти женщины нет ничего особенного, женщины всегда будут умирать в нашем мире повсюду: нет сомнений, что, пока я пишу эту предложение, где-то умерло несколько женщин, но эта единственная женщина, которая сейчас меня заботит, эта единственная женщина, привязанная к потолочной балке, в отличие от всех прочих женщин в мире, эта женщина была мне матерью. До этого у меня была моя маменька, за чью спину я в любую секунду могла спрятаться. Теперь я была незащищена. Смерть ее была не такой тихой и задумчивой, как смерть моего отца, ее смерть была деловитым, поспешным поступком: маменька просто выпрыгнула из жизни. И за чье же платье мне теперь хвататься? Хвататься за материнское платье мне больше не придется. Ее холодный нос отвернулся от меня, возгласив об отречении.

– Маменька! – позвала я. – Маменька, маменька!

Но она, а вернее, свисающее с балки туловище – все, что осталось от моей маменьки, – не отозвалась.

В ужасе я заметалась по комнате, ища какого-нибудь спасительного утешения, и нашла только Марту.

Должно быть, доктор Куртиус услышал мой плач, потому что он подошел к лестнице и крикнул снизу:

– Где твоя мамаша? Пора! Уже давно пора! Мы же договорились!

– Она не придет, сударь мой.

– Но она должна, должна! Мы же договорились.

– Прошу вас, сударь, прошу вас, доктор...

– Что?

– По-моему, она умерла.

Тут Куртиус поднялся по чердачной лестнице и отворил нашу дверь. Я тихо пошла за ним. Куртиус знал толк в трупах. Он же был знатоком мертвых тел и их осунувшихся лиц. И сейчас, едва открыв дверь комнатки, он с первого взгляда на висящее, словно пальто, туловище понял, что перед ним очередной экземпляр.

– Застыла, – произнес он, – застыла, застыла...

Он прикрыл дверь. Я стояла рядом с ним на верхней площадке чердачной лестницы.

– Застыла, – низко нагнувшись ко мне, прошептал он с таким видом, точно это был наш с ним секрет. Он спустился по ступенькам вниз, потом обернулся ко мне, кивнул и вновь прошептал, причем его лицо исказила гримаса жуткой печали:

– Застыла, – и вышел из дома, закрыв и заперев за собой входную дверь.



Я сделала восковую копию дикого голубя, которая заменила мне маменьку

Прошло немало времени, а я сидела на ступеньках лестницы с Мартой. Мы сидели тихонько и чего-то ждали. Маменька наверху, думала я, она наверху и – мертвая!

Наконец из больницы пришли люди. С ними был доктор Куртиус.

– Я не могу заставить людей работать, – приговаривал он. – Я могу привести их в нерабочее состояние, я могу разъять их на части, да, в этом деле я хорош, у меня богатый опыт, но они не хотят у меня работать. Я не могу заставить их работать со мной. Они отказываются. Они умолкают. Они застывают.

Люди из больницы поднялись по лестнице к нам на чердак, встали рядом со мной и Мартой, но не обращая на нас внимания. Самый пожилой из них открыл дверь и впустил всех в комнату – то есть всех, кроме Куртиуса, который остался снаружи. Перед нашими носами дверь захлопнулась. Оставшись вдвоем, мы оба стали гадать, не допустили ли мы какой-то ошибки, а иначе с чего это нас туда не пустили? Доктор Куртиус, теперь вконец оробевший,

старался не смотреть на меня, хотя мы с ним стояли очень близко. Молодой доктор Куртиус теперь выглядел совсем юным, чуть не ребенком, когда стоял, не сводя глаз с двери.

Наконец дверь отворилась. Самый старший из больничных людей с очень серьезным видом заговорил тихо и медленно:

– Отведи девочку вниз. И пусть она остается там.

Куртиус покачал головой и ответил едва слышным обиженным голосом:

– Если вы заставите меня к ней прикоснуться, боюсь, и она тоже умрет, хирург Гофман.

– Глупости! Идем, Филипп! Филипп Куртиус, ты можешь это сделать!

– Не знаю. Я правда не знаю.

– Отведи ребенка вниз. Давай займемся делом.

– Но что мне с ней делать?

– Неважно! – отрезал хирург. – Просто уведи ее отсюда.

Дверь снова захлопнулась перед нашими носами. Помедлив, Куртиус слегка постучал по моему плечу.

– Пойдем, – сказал он. – Прошу тебя, пойдем, – и стал спускаться по лестнице. Я положила Марту в карман, где она была в безопасности, поднялась со ступеньки и медленно пошла за ним в мастерскую.

В мастерской Куртиус огляделся вокруг, точно не был уверен, что мне предложить. Потом он вроде нашел ответ. Сняв с полки коробку с костями, он вытащил из нее и передал мне, с величайшей нежностью, насколько я помню, человеческую лопаточную кость, вроде бы правую.

– Это хорошая кость, – шепнул он, – великолепная и очень удобная кость. Это часть плечевого пояса, крупная, плоская, треугольная и чрезвычайно приятная на ощупь. Да, изумительная, умиротворяющая кость.



Вскоре в мастерскую пришел хирург Гофман и застал нас поглощенными беседой. Я восседала на табурете, а Куртиус сидел на полу подле меня и рылся в коробке с костями.

– А вот это, смотри, височная кость... А эта... гм... левая теменная... ну а эта – крестцовая, она чудесна, не правда ли? Они все чудесные, правда? Мои старые друзья!

– Дело сделано, – сообщил хирург.

Я не издала ни звука.

– Теперь, – продолжал хирург, – надо что-то решить с ребенком. Ее нужно где-то пристроить.

– Я могу оставить ее у себя? – поспешно спросил доктор Куртиус. – Малышку. Могу я ее оставить у себя?

– И речи быть не может! – покачал головой хирург.

– Но я бы хотел ее оставить.

– Почему, скажи на милость?

– Она не боится.

– А с чего ей бояться?

– Она трогает кости.

– И что это значит?

– Она спокойная.

– И что с того?

– Возможно, она умненькая, возможно, она глупенькая, не знаю. Но пока что, если не возражаете, я хочу оставить ее при себе.

– Она тебе полезна?

– Возможно, я ее обучу.

– Что ж, – вздохнул хирург. – Тогда оставь ее пока у себя, мне-то какое дело? А там придумаешь для нее что-нибудь получше.

Глава четвертая

в которой я была сначала одна, а потом удвоилась.

В тот первый вечер, когда мы остались в доме вдвоем, я стояла посреди кухни, а Куртиус пытался что-то приготовить. Стараясь быть полезной и работающей, как меня учила маменька, я спросила, могу ли я чем-то помочь: он был слишком возбужден, и я, не дав сковородкам перекалиться на большущем огне, принялась помогать ему со стряпней.

– Я тебя не боюсь, – сообщил мне доктор Куртиус. – Ты меня совсем не пугаешь. У тебя же ничего нет, так? Совсем ничего.

Когда мы покончили с едой и пришла пора идти спать, Куртиус молча наблюдал, как я поднимаюсь по ступенькам в свою чердачную комнатушку.

– Доброй ночи, крошка!

– Доброй ночи, сударь мой!

– Как тебя зовут? Мне же нужно знать твое имя, верно? Я вообще-то понятия не имею, как обращаться с детьми. Наверное, я буду допускать ошибки. Но насколько мне известно, у всех детей есть имена. Какое у тебя имя?

– Анна-Мария Гросхольц. Но маменька всегда называет меня... Мари.

– Ну, раз так, то доброй ночи, Мари. Ложись спать!

– Доброй ночи, сударь!

И я поднялась в свою чердачную комнатушку, лелея слабые надежды, что, как всегда, обнаружу там маменьку и расскажу ей о событиях сегодняшнего весьма необычного дня. Ну и, разумеется, ее там не оказалось. Но хотя маменьку унесли куда-то прочь, они забыли забрать простыню, на которой она повесилась, и эта простыня валялась теперь комком в углу. И тут я подумала, что, видно, она уже никогда не вернется сюда. Ни завтра, ни послезавтра, ни к концу недели, и жизнь в городе Берне, и в доме Куртиуса, и даже моя собственная жизнь будет теперь продолжаться без маменьки. Я стала раздумывать, куда ее увезли.

Мне было не по себе в этой комнате. Отвернувшись, я вдруг начинала воображать, будто маменька все еще свисает с потолочной балки, с вывихнутой шеей и свернутой вбок головой, но когда я глядела туда, ее там не было. И это подвешенное туловище вовсе не казалось мне маменькой, а скорее незнакомцем, который своровал ее у меня. Комната не внушала мне доверия – лучше уж оказаться в любой другой комнате, думала я, но только не сидеть на этом чердаке, поэтому, удостоверившись, что доктор Куртиус удалился к себе, я прокралась вниз вместе со своим одеялом, прихватив с собой подаренную маменькой Марту и папенькину серебряную челюсть. Я попробовала расположиться в кухне, но там мне почудилось, будто повесившаяся вернулась: словно маменька с вывихнутой шеей сидела у очага: я увидела ее Библию, все еще лежащую на выступе посудного шкафа, и теперь книга меня напугала. Мне захотелось оказаться в любой комнате – но только не в кухне и не на чердаке. Но когда я вышла из кухни, мне привиделось, что маменька с выкрученной шеей бредет за мной по всему дому, и мне пришло в голову, что единственное место, куда она за мной не последует, – это мастерская Куртиуса. Там, в мастерской, как мне было известно, хранились все те жуткие предметы, все мрачные секреты, которым лучше бы так и оставаться нераскрытыми, а подойдя к мастерской, я ощутила, как маменька с выкрученной шеей дышит у меня прямо над ухом, поэтому я вошла туда и поспешно затворила за собой дверь. Я находилась одна в комнате, переполненной кусками человеческих тел, и их призрачные фигуры толпились вокруг меня. Но зато я больше не чувствовала подле себя дыхания моей маменьки с вывихнутой шеей. Я осторожно устроила

себе лежанку под верстаком и, мысленно моля куски человеческих тел отнестись ко мне по-доброму, крепко зажмурила глаза и наконец уснула.

Я намеревалась проснуться пораньше, чтобы на цыпочках прокрасться обратно к себе на чердак, так, чтобы доктор Куртиус не услышал, но, проснувшись, поняла, что никто иной, как доктор Куртиус трясет меня за плечо и что уже давно утро.

– Вот ты где! Так ты спала тут? – проговорил он. – Давай, пора вставать!

Больше он ни словом не обмолвился о моей ночевке в мастерской, под его верстаком. Я свернула одеяло и положила его на полку – и тут на меня нахлынули воспоминания о смерти маменьки.

– Пойдем, пойдем, – не унимался он. – Ты должна поторопиться!

И ровно в семь утра началось мое обучение.

– Ты должна запомнить, – говорил он мне, – я не привык к людям. Я знакомлюсь с людьми только по частям. Не целиком. Я хочу их понять. Я хочу узнать их получше. Но мои модели слишком сильно на меня влияют. Я и сам стал себе снится лежащим в ящике-витрине из розового дерева, на подложке из красного бархата. Да-да, и хуже всего, что по-настоящему страшит меня, над чем у меня нет никакой власти, чем я не могу пренебречь и что не в силах отогнать, так это то, что в моих снах я в этом ящике прекрасно себя чувствую. Выпустите меня! – воскликнул Куртиус, слегка постучав кончиками пальцев по моей груди. – Эй, кто-нибудь, выпустите меня! Разве вы не слышите, как я стучусь в стекло изнутри! Я лежу тут! Кто же выпустит меня? Я хочу получше узнать живых людей. Я хочу узнать тебя получше. Да-да! Мы здесь. Вот и все. Я тебя не боюсь. Ни в малейшей степени.

Доктор Куртиус внезапно вскочил со стула и торопливо принялся за работу. Немного погодя он оставил свое занятие и обернулся ко мне.

– Знаю! – воскликнул он. – Я знаю, как с этим обойтись. Я знаю способ. – И он забегал по мастерской, сгребая разные предметы и раскладывая их на верстаке.

– Давай-ка, Мари – ведь тебя так зовут? – обратился ко мне Куртиус, удовлетворенно разглядывая собранные на верстаке штуковины. – Давай, если ты готова и если хочешь, начнем!

– Я вполне готова, сударь мой!

– Эти инструменты некогда принадлежали моему отцу. А он служил главным анатомом Бернской больницы, это был великий человек! После его смерти все эти инструменты перешли ко мне по наследству. – Он подошел к сосуду, наполненному гипсовым порошком, мерной ложкой зачерпнул оттуда немного, высыпал гипс в металлическое ведро и, добавив немного воды, тщательно перемешал.

– Я покажу тебе, как это все делается, чтобы ты поняла и потом смогла повторить весь процесс. Для этого я изготовлю слепок. Не части тела, нет, не сегодня. Сегодня для твоего обучения я, если не возражаешь, сделаю слепок твоей собственной головы.

– Моей головы?

– Да, твоей головы.

– Моей головы, сударь?

– Повторяю: твоей головы.

– Ну, если вам так угодно, сударь...

– Мне угодно!

– Ну тогда ладно, сударь, слепок моей головы.

И мы начали.

– Сперва немного масла, – с этими словами он нанес масло на мое лицо, – чтобы потом гипсовую маску можно было легко снять. Он размазал масло по всему моему лицу. – Соломинки! – вдруг вскрикнул он. – Нужны соломинки. Чуть не забыл! – И он осторожно вставил мне в ноздри две соломинки, чтобы я могла дышать сквозь гипсовую маску. – Закрой глаза. И не открывай, пока я не скажу.

Он принес гипсовый раствор. И я почувствовала, как вязкий гипс тонким слоем растекся по моей коже, а сверху легли полоски ткани, густо пропитанные жидким гипсом. Странное тепло от гипсового раствора, казалось, глубоко проникало в кожу и сковывало мое лицо. Было темно, и по щекам, векам, губам и шее растекалось тепло, пока я вдруг не почувствовала, что куда-то уплываю, а может быть, уже даже умерла. Потом мне почудилось, что во тьме я мельком увидела маменьку, но она тотчас исчезла, и я вновь погрузилась во тьму и пустоту, и рядом никого не было. Наконец с моего лица сняли гипс, и вернулся свет, и я снова очутилась в мастерской. Доктор Куртиус поспешил с гипсовым слепком к верстаку. Потом он смочил мои волосы маслом, усадил меня затылком вперед и снял гипсовый слепок задней части моей головы, а потом и слепок моих ушей.

– Ну вот, – сказал он, – теперь положим дров в плиту и разожжем ее. Я это покажу тебе, но только один раз. Потом твоя очередь. – И он разжег огонь. – Смотри и запоминай! – Он забегал по комнате, раскладывая на верстаке нужные инструменты. Сначала он измельчил в ступке пигменты, комментируя все свои действия. – Краплак и киноварь смешиваем. Добавляем кармазина, немного голубого и зеленого. Щепотку. Измельчаем. Чутьочку желтого. Смешиваем. Вот так, видишь? Теперь вот так, – приговаривал он, подойдя к огромной бутылки в оплетке и с краником и налив из нее немного жидкости в небольшую банку. – Это скипидарное масло, которое надо постоянно добавлять к пигментам. Итак, получилась смесь. Смотрим: вот твой цвет!

Он снял с полки большую медную чашу, показал мне и заставил в нее заглянуть. Потом поставил пустую чашу на горячую плиту.

– Что у нас? Ничего! Так, вот табуретка, сядь на нее! Ну вот, теперь, думаю, мы готовы.

Взяв большой нож, он подошел к запертому посудному шкафу, отпер дверцу и очень осторожно, так, чтобы я не видела, что-то отрезал этим ножом. Потом запер дверцу шкафа и вернулся.

– Это, – сказал Куртиус, показывая мне катышек желтоватого вязкого материала, – то, что я держу, это вещество, это главное! При том, – продолжал он, любовно перекатывая катышек в ладонях, – при том, что сам он не имеет ни характера, ни свойств. Сам по себе он ничто, но он может быть дружелюбным или безучастным, он может быть красивым, он может быть уродливым, он может стать костью или стенкой брюшной полости, может превратиться в разветвление артерий и вен, а может стать лимфатическими узлами, стволом головного мозга, ногтями – чем угодно, от крошечной слуховой косточки внутри уха до бесконечной ленты кишечника, свернутой внутри нас. Всем, чем угодно! Он может стать чем угодно! И он может стать ТОБОЙ!

– Но что это, сударь мой? – спросила я.

– Это зрение и память, это история. Он может стать серым, как легкие, и коричнево-красным, как печень, может стать чем угодно, в том числе и тобой.

– А он может стать моей куклой Мартой?

– Может! Да, еще как может! Он может воспроизводить поверхность любого предмета с поразительной точностью. Эта поверхность может быть шершавой, гладкой, рифленой, блестящей, плоской, рябой, рваной, в крапинку, в шрамах, скользкой или покрытой коркой. Сама выбирай! Нет такой поверхности, которую он не мог бы повторить.

– Тогда может ли он стать маменькой?

– Нет, дитя мое, – ответил он после некоторого колебания, – ею он стать не может. Как не может стать моим отцом или моей матерью. Они тоже умерли. Он мог бы ими стать. Как бы я этого хотел! Но теперь слишком поздно. Они исчезли в пустоте. Ты можешь это понять? И их оттуда уже не извлечь, остались лишь их образы, которые мы лелеем в своей душе, не точные образы, а лишь блики, крошечные осколки. А этого недостаточно. Не осталось никакой поверхности, а это, понимаешь ли, требует поверхности. Таково его правило. Так что для твоей матушки слишком поздно.

– Мне так жаль, что это не может стать маменькой.

– Он жаждет стать личностью, – проговорил Куртиус, – жаждет стать чем-то. И ему требуется только ненавязчивое указание. Ну что, укажем ему нужное направление, а, крошка Мари? Сейчас ты сама увидишь, какой он удивительно послушный работник, какой он великий актер!

– Хорошо, сударь.

– Тогда поддержи его в руках! Вот, бери! Понюхай!

Я взяла катышек и понюхала его.

– Да это же простой воск, – протянула я разочарованно.

– Нет! Ничего подобного! Никакой это не простой воск! Любой воск – вещество возвышенное, священное! А вот это, это – аристократ среди всех видов воска, князь всех восков! Величайший материал для изваяния мельчайших деталей, для тончайших имитаций, честнейшее из всех веществ. Вот это – комочек чистого пчелиного воска.

– Чистый пчелиный воск, – повторила я, стараясь запомнить это название.

– Его производят азиатские медоносные пчелы. Так, отлично, а теперь пустим его в работу.

– Медоносные пчелы, – повторила я.

Далее воск был растоплен в медной чаше, а в него добавлен пигмент и еще немного каучука. Куртиус рассказал, какую температуру огня следует поддерживать в плите, как осторожно следует смешивать воск с добавками. Наконец все было готово. Сначала слепок моего лица. Он намазал внутреннюю поверхность веществом, которое назвал «мягким мылом», чтобы потом воск можно было без усилий удалить, после чего залил внутрь расплавленный воск. Сначала совсем чуть-чуть, покрыв тонким слоем всю поверхность слепка, причем внимательно наблюдая за процессом. Доктор взял в руки слепок и стал его потряхивать, чтобы воск равномерно распределился по всей поверхности и не осталось пузырьков воздуха. Затем он положил второй слой воска, а потом и третий, и четвертый, и пятый. Последние два слоя, пояснил он, утолщают будущее изделие и придают ему прочность. После нескольких минут ожидания – всего лишь нескольких минут! – восковой слепок был готов. Доктор довольно легко извлек его из гипсовой формы.

– Это мое лицо? – изумилась я.

– В точности!

И он оставил меня с моим восковым лицом. Оно было еще теплым, точно жило собственной жизнью. Но довольно скоро восковое лицо остыло. Доктор залил воск в другие слепки моей головы. И каждый слепок открыл свой секрет. И теперь перед нами лежали разные части моей головы, покрытые воском цвета кожи, причем восковая пленка имела оттенок моей кожи, как он и сказал. Мои волосы он заранее собрал у меня на макушке и теперь сделал их копию из окрашенного коричневым пигментом воска. Наконец он занялся прилаживанием частей моей головы друг к дружке, чтобы, как он выразился, собрать муляж. Каждый фрагмент был соединен с соседним: в щели между кусками надо было влить еще расплавленного воска или срезать лишние кусочки застывшего, а потом отшлифовать восковую поверхность, чтобы швы стали незаметными. Нижнюю поверхность шеи ему пришлось сделать совершенно плоской, чтобы моя голова могла стоять без подпорок. Восковая голова была полая внутри, и он набил ее старым тряпьем, паклей и стружками.

– Для прочности, – пояснил он.

И вот на верстаке стояла моя голова.

– Я все собрал воедино, а не разобрал на части, – сказал Куртиус.

Я глядела на свою голову: вот она я на столе в мастерской, с закрытыми глазами. Девочка с отцовским подбородком и материнским носом. Мне подумалось, что недавно была одна я, а теперь удвоилась.

В конце дня мы поели суп в кухне.

– Прошу прощения, сударь... – начала я.

– Да, слушаю тебя.

– Я вот тут думала, сударь, о моей маменьке. Куда ее дели?

– Не могу сказать, – ответил он. – Но это можно выяснить. Хирург Гофман наверняка знает. Когда он к нам зайдет, мы непременно спросим у него.

– Я бы хотела сходить на ее могилу.

– Да-да, конечно. Мы спросим.

Когда мы покончили с супом, я убрала со стола посуду, и он сказал:

– Пора спать, Мари Гросхольц.

– Да, сударь мой, – кивнула я, жутко боясь возвращаться к себе на чердак.

– Если хочешь, можешь спать внизу. В мастерской. Но только ничего не трогай! Хотя погоди-ка. Скажи мне: тебе там не было страшно одной?

– Я чувствовала, как все они бродят по комнате. Обрубки людей.

– Да что ты?

– Но потом мне стало все равно.

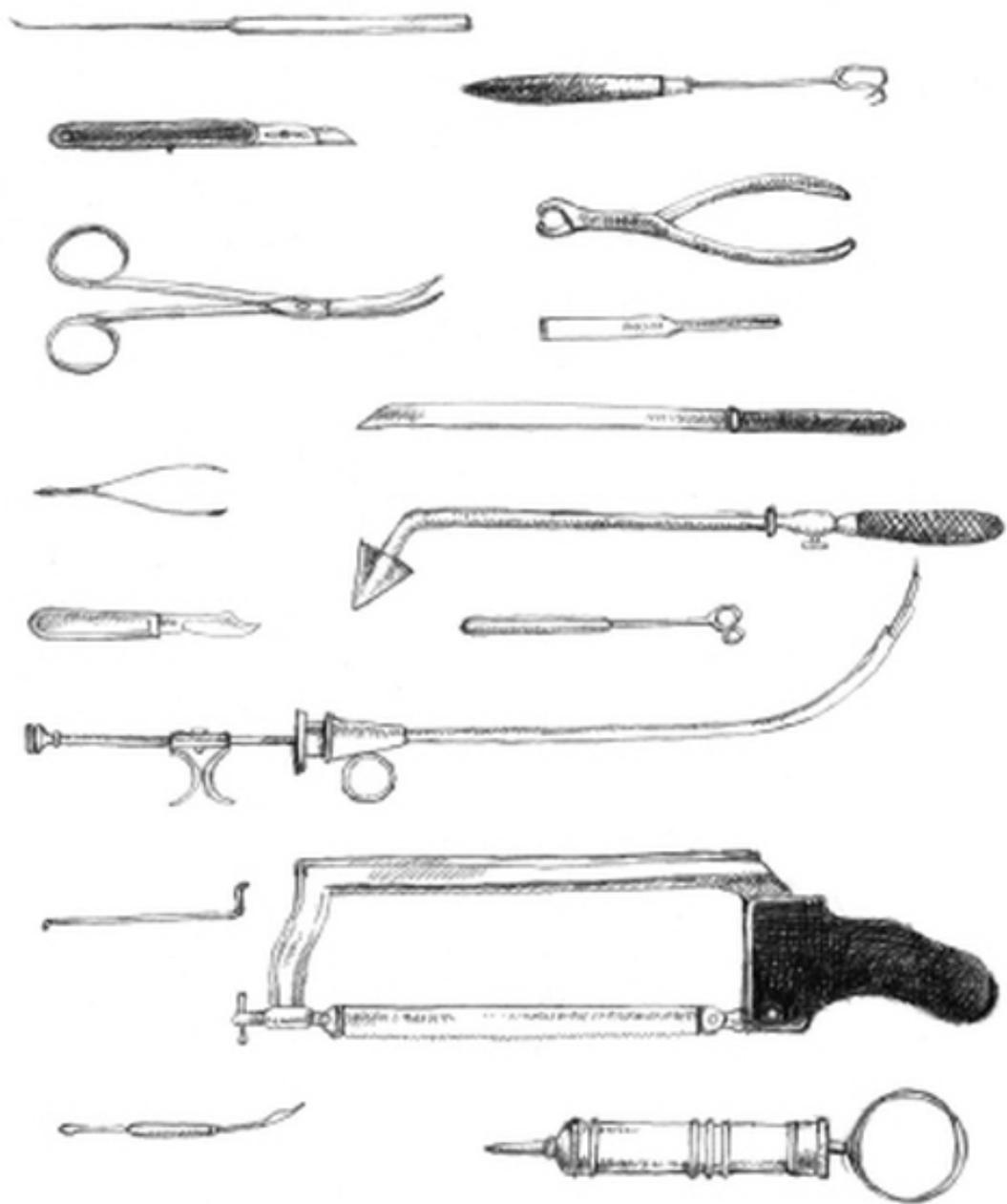
– Неужели? Многие испытывают к ним отвращение. А теперь в постель! И спи крепко!

Я вернулась в мастерскую и устроилась на своей лежанке на полу. Так я и лежала под верстаком, на котором стояла моя вторая голова. Ночью, если я замирала, мне чудилось, будто я слышу дыхание всех этих обрубков тел. Но рядом с собственной восковой головой я не чувствовала себя в комнате лишней. И еще я думала, что, если я буду очень прилежной, доктор оставит меня у себя.

Глава пятая

Снова хирург

Иногда моя помощь требовалась у плиты, иногда я подавала доктору Куртиусу нужные инструменты. Чтобы быть ему полезной, мне пришлось выучить разные названия. Там были штангенциркули и шпатели, напильники и полировщики, еще были скребки и тросики, лопатки и весла, были скребки для гипса и проволочные резакки для глины, были наборы разных ножей и ножичков с разными бороздками на кончиках лезвий, некоторые с изогнутыми концами, некоторые с закрученными, были инструменты, сделанные из стали, или из свинца, или из разных пород дерева, из твердой древесины и из мягкой древесины, из розового дерева и из вишневого дерева, одни гладкие, другие шершавые, одни чрезвычайно острые, другие намеренно затупленные, и названия всех этих инструментов я должна была знать назубок. Все это были привычные орудия скульптора – но лишь малая толика из используемого доктором инвентаря. У Куртиуса имелась масса хирургических инструментов, необходимых для его работы. У них тоже были названия, и про них ни в коем случае нельзя было говорить «та штука», или «эта штука», или тем более «та палочка с длинным загнутым концом», или «кривая палочка с крючком», и мне пришлось выучить и запомнить все названия отдельных представителей металлической коллекции доктора. Там было семейство скальпелей, от прямых до выгнутых, от плоских до трубчатых. Там были самые необычные разновидности ножниц, прямых и заостренных, щипцов-расширителей для мышц и тонких зажимов. Были еще канюлированный стилет и канюлированный щуп. Да, и не забудем прижигатель в форме монеты, как и его братца – клинообразного прижигателя, а равно и их кузена – прижигателя в форме ключа. И нельзя путать заостренную иглу-стилус с плоской «сетонской иглой». А еще он пользовался простенькими щипчиками-«пеликанами» и такими же, но покрупнее, плоскогубцами. Там лежали бельморез и носовой зонд, а тут – языкодержатель и горжерет для введения в пищевод. И все эти чудного вида приспособления были сделаны для проникновения внутрь человеческих тел, для протыкания и выдергивания, для скобления и прижигания. Однако доктор Куртиус применял эти штуковины не по их прямому назначению, а для своих особенных нужд при изготовлении восковых муляжей. И мне казалось, что все эти металлические приспособления обладали какой-то неутолимой жадой проникать в человеческое тело.



Когда бы я ни брала одно из них за деревянную рукоятку, у меня возникало стойкое ощущение, как под моими пальцами инструмент стремится изменить направление движения и впиться в мою плоть. С инструментами всегда приходилось держать ухо востро и крепко сжимать в руке, потому как все они были весьма решительные субъекты. Мне вечно приходилось показывать им, кто тут хозяин, и если я вдруг отвлекалась хоть на секундочку, хоть на миг, они сразу нацеливались вспороть мне кожу. Несколько раз им это удавалось: однажды меня цапнули за кончик пальца, в другой раз куснули за ладонь, что неизменно вызывало ярость доктора Куртиуса. Потому что с ним они были тише воды, ниже травы, ведь он их всех укротил. В его руках они оставались паиньками.

Генрих из Бернской больницы в ту первую неделю приходил дважды с коробками, набитыми кусками тела, которые Куртиусу предстояло копировать в гипсе. Я наблюдала за его работой и вскоре начала выполнять для него несложные задания. Меня окружали предметы, изъятые из недр тела. Частенько эти безжизненные куски людей доставлялись нам после того, как они подвергались нападению какого-нибудь студента-анатома в больнице: это могли быть окровавленные лоскуты ткани, изрезанной в клочья, или часть торса, истыканного студентами-практикантами. Желтые и серые обрывки кожи сваливались горой на верстаке. Их смрад подавлял все иные запахи. И еще очень долго после того как источник смрада покидал стены мастерской, жуткий запах носился в воздухе, ощущался на языке, в носу, в глазах и на коже. Кусок тела, думала я, ты чей? Я видела шрам, веснушку, родинку, морщинку на холодной плоти, волоски на руке – и пускалась фантазировать. И ведь это зрелище не внушало мне ужаса, совсем нет, оно стало обычным, привычным. Этому научил меня Куртиус.

– Это же просто фрагмент человеческого тела, Мари. И ничего в нем нет особенного. Человеческие тела, в конце концов, самые обычные предметы.

В конце недели приехал хирург Гофман. Он остановился перед моей восковой головой и смотрел на нее с изумлением.

– Так-так. Ты опять взялся за свое. Поразительное сходство, Куртиус.

– Благодарю вас, сударь! – отозвался тот.

– Правда, это едва ли имеет большое значение, – задумчиво пробормотал Гофман, хотя было видно, что он не может оторвать взгляд от восковой головы. – Я не думаю, Куртиус, но все же... Нет, конечно, нет!

– Что вы хотите сказать, сударь?

– Я собирался сказать какую-то ерунду, какую-то глупость.

– И все же, сударь?

– М-да. Вот что, Куртиус, я хотел высказать предположение... хотел предложить, что, возможно, ты бы мог добиться такого же отменного сходства, такой точности, вылепив меня? Ты смог бы? Что скажешь?

– Да, сударь, я бы смог.

– В самом деле?

– Без сомнения, сударь!

– Ты думаешь, я глупец?

– Вовсе нет. Если вам будет угодно, сударь...

– Мне будет угодно! Я считаю, что пора мне прославиться, в конце-то концов. Я известный специалист в своей области. Я не жду, что мне установят бронзовую статую, но такое вот изваяние из воска, почему бы нет? Я был бы тебе весьма благодарен.

– Я могу это сделать, сударь.

– Хорошо. Да, это хорошо!

Куртиус отправился за сосудом с сухим гипсом. А я подошла к старику.

– Прошу, садитесь, сударь.

Он сел на стул, было видно, что он немного нервничает. Я обернула вокруг его шеи белую простынку, точно он сел в кресло цирюльника. Подошел Куртиус с пузырьком масла.

– Мне нужно расстегнуть ворот вашей сорочки, сударь, чтобы приоткрыть шею. Закройте глаза, сударь.

– Да, – отозвался тот.

– И не открывайте.

Мой наставник нанес на лицо хирурга немного масла. Тот поморщился.

– Я теперь в вашей полной власти, так, Куртиус?

– Вам следует сидеть абсолютно неподвижно! – ответил он. – Это необходимое условие. Я вставлю две соломинки вам в ноздри, и вы будете дышать через них, пока я не скажу. И губы тоже крепко сожмите.

Воцарилась тишина, мы в молчании корпели над хирургом. Он полностью нам подчинился. Его грудь вздымалась и опускалась, оставаясь единственным зримым подтверждением того, что он жив. Когда Куртиус удалил с его лица гипсовый слепок, под ним обнаружилось лицо испуганного и оробевшего старика, который, моргая, глядел на нас с недоумением. И тут я решила воспользоваться моментом.

– Вы меня извините, сударь? – обратилась я к хирургу.

– Что такое, мое дитя?

– Я вот все думала, куда дели мою маменьку.

– Боюсь, твоя мать умерла.

– Да, сударь мой, мне это известно. Но где она сейчас? Я бы хотела ее навестить.

– Навестить? – в изумлении воскликнул он. – Что за странная прихоть!

– Когда скончался мой папенька, у него была могила. Сударь, скажите на милость, а где маменькина могила?

– Дитя, – строго сказал он. – Нет никакой могилы.

– Как нет могилы? Совсем никакой?

– Нет, нет. Ее погребли в яме. Она обрела покой рядом со множеством прочих горемык. Но ее не отдали на растерзание студентам в больницу, чтобы она не попала к Куртиусу. Я не мог этого допустить. И тем не менее она легла в общую могилу для нищих, понимаешь? Быстрое погребение, вполне достойное. Кто-то что-то сказал. Залили едкой известью. Положили рядом с остальными неимущими мертвецами, доставленными в тот день.

– Но где находится эта яма? Где теперь моя маменька? – меня переполняло отчаяние.

– Тебе не стоит говорить со мной в таком тоне! Не смей!

– Прошу вас, скажите!

– Такие погребения не записываются ни в каких книгах. А едкая известь действует... быстро.

– О, маменька! – зарыдала я.

Хирург отошел к Куртиусу.

– Позволь мне взглянуть на мою голову!

– Она еще внутри, – Куртиус продемонстрировал гипсовую форму, – в зазеркалье, в перевернутом мире. Но воск скоро покажет свои чудодейственные свойства.

– Но я хочу ее увидеть!

– Увидите в свое время. Это всего пару дней. Приходите через два дня. А сейчас вы нам больше не нужны. Ведь у нас есть это!

– Я должен оставить у тебя свою голову?

– Тут она будет в полной безопасности.

В ту ночь, оставшись одна в мастерской, я плакала, уткнувшись в одеяло, так как у маменьки не оказалось могилы, куда я могла бы приходить. Ничего от нее не осталось, совсем ничего, кроме ее Библии, в которую, казалось, была вложена частица ее горестей.

Но потом, утерев нос, я вдруг придумала грандиозную теорию. Вот мой нос – вернее, маменькин нос. Значит, она все еще здесь. Маменька. Моя. Вот так и пришла в голову моя великая система носа. Она оставила мне свой нос, и больше ничего и не требовалось, чтобы помнить о ней. Я обладала двумя одинаковыми воздушными проходами, с помощью которых могла вдыхать и обонять любовь. Меня порадовали эти мысли и обуяла гордость за мою теорию. Вот маменька, вот папенька, они со мной, и я могу жить дальше.

Глава шестая

Головы

Куртиус изготовил голову хирурга Гофмана. Голова получилась в морщинах, с немного обвисшей кожей у уголков рта, брови слегка нахмурены. Тонкие губы.

– Вылепив твою голову, – сообщил мне Куртиус, – я совершил великое открытие и испытал немалое удовлетворение. Но голова заставляет меня чувствовать тревогу. В присутствии этой головы мне следует постоянно помнить о приличиях. Я не огорчусь, когда ее унесут отсюда.

Когда хирург Гофман вновь к нам пришел, он долго стоял в раздумьях перед своей восковой головой. Она его немало поразила, так что его глаза увлажнились. Он глубоко вздохнул, раздув ноздри.



– О да, – изрек он, – должен признать, это точно я. Как же это странно – осматривать с разных ракурсов и ходить вокруг... себя. Словно это и не я вовсе, а кто-то другой. Раньше я себя недостаточно хорошо знал. Да, отличная работа!

Уж и не знаю, кому предназначалось последнее замечание – Куртиусу или восковой голове, но, произнося эти слова, хирург смотрел на голову. Завернув ее, он отправился с ней в Бернскую больницу. Мы оба не были опечалены, глядя ему вслед.

А два дня спустя к нам пожаловал больничный капеллан, который и себе заказал восковую голову. Он так настойчиво об этом просил, что Куртиус взял заказ, но когда голова была готова и заказчик пришел за ней, он явно огорчился, словно надеялся лицезреть изваяние некоего святого, а увидел лишь лысеющего старичка с ямочкой на подбородке.



Наша совместная работа в доме на Вельзерштрассе весьма спорилась. Мы с доктором Куртиусом неплохо сработались, думала я, хотя временами, должна признаться, я ему мешала.

– Сударь! Простите, сударь, вы позволите?

– Что?

– Все эти кусочки, сударь, на стене, эти здоровые части тела – все вместе, неужели они умещаются внутри одного туловища?

– Ну да, в теле каждого человека находятся все эти органы.

– Не может быть!

– Но это так!

– Не может быть!

– Говорю же тебе, именно так!

– У нас уже скопилось слишком много кусков, сударь, не так ли?

– Мари, я пытаюсь работать! Я привык к тишине. Почитай книгу! – и тут он умолк, внезапно захваченный новой идеей. – А лучше сделай вот что: возьми кусок угля и лист бумаги, сядь там в уголке и нарисуй что-нибудь.

– Что нарисовать, сударь мой?

– Нарисуй... нарисуй вот это!

– А что это такое?

– *Medulla oblongata*, или продолговатый мозг.

– *Medulla oblongata*. Продолговатый мозг. Хорошо, сударь. Похоже на крысу с прямым пробормом.

– Рисуй!



Так я начала рисовать. Когда мне не нужно было хлопотать у плиты или подавать ему инструменты, я сидела в уголке и рисовала.

Четвертую восковую голову Куртиус сделал для директора больницы. Увидев головы хирурга и капеллана, директор тоже захотел такую же. Вот что я тогда поняла: люди восхищаются собой. Директор самолично пришел к нам на Вельзерштрассе, и его приход поразил Куртиуса до глубины души. Директор больницы поставил голову директора больницы в центральном вестибюле. И потом частенько останавливался перед ней и неотрывно на нее смотрел. Довольно скоро люди, которые не имели никаких дел в больнице, совершенно здоровые и даже, возможно, жизнерадостные люди, чьим единственным недугом было чрезмерное любопытство, входили в черные больничные ворота только с целью поглазеть на директора больницы, стоящего перед восковой головой директора больницы.



Я рисовала стальные инструменты покойного отца Куртиуса, я рисовала почки и легкие, кости и опухоли, чтобы получше их узнать. Я рисовала Марту, и папенькину серебряную челюсть, и себя. Я выходила не слишком хорошо, то есть совсем не хорошо, так было поначалу, но я очень старалась.

– Ты только бумагу изводишь, Мари, – упрекнул меня Куртиус. – Пойдем-ка со мной.

И я пошла за ним на кухню. Там он взял белого хлеба, выковырял мякиш из корки, скатал его в шарик и вернулся с ним в мастерскую. Он взял один из моих рисунков – я нарисовала, или хотела изобразить, желчный пузырь, и он стал тереть бумагу хлебным шариком до тех пор, пока мой рисунок углем не перекочевал на хлебный мякиш, который теперь стал черным-пре-черным, а бумага при этом приобрела первоначальную белизну.

– Когда допускаешь ошибки, а ты их допускаешь, сразу иди на кухню. Белый хлеб!

Однажды вечером я рисовала, и он спросил:

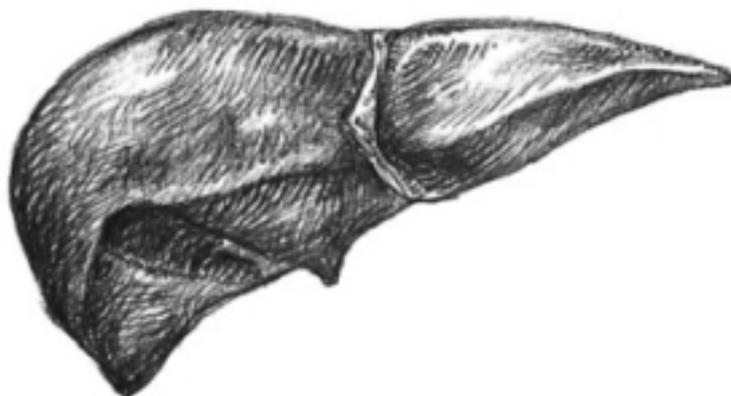
– А это что такое?

– Вот что, – ответила я. – Печень.

– Неужели? – строго сказал он. – Посмотри получше! Марш за хлебом!

Позднее он произнес:

– Нет, еще нет. Все еще не похоже. Посмотри еще раз, смотри внимательно. Хлеб!



Я выучила наименования всех костей человеческого тела, рисуя их. Я изучала органы размножения, подсчитывала бугорки на позвоночнике – и все-все рисовала. Я разглядывала анатомические рисунки в его книгах и копировала их карандашом. Я засыпала вечером, не выпуская из пальцев карандаш. Я рисовала Куртиуса.

Благодаря восковой голове директора жители Берна узнали про доктора Куртиуса и про его дом на Вельзерштрассе. И стали наносить визиты. Вылепите мою голову, просили они, и Куртиус лепил. Голова торговца. Голова кузнеца. Голова банкира. Голова чиновника. Люди все приходили и приходили, один-два визитера в неделю. А я открывала двери гражданам Берна.

– Прошу вас, сударь, проходите сюда, – вежливо говорила я и усаживала посетителей в кресла. Все изумленно глазели на полки, заставленные восковыми работами Куртиуса.

– Они чудесны, не правда ли? – приговаривала я.

– Чудесны, да, – нервно соглашались посетители.

Я обматывала полотенца вокруг шей и покрывала полотенцами плечи, аккуратно снимала с голов парики, мыла лица и закалывала волосы на затылках. Я просила людей зажмуриваться и намазывала маслом их веки, брови, подбородки и лбы. Я осторожно вставляла им в ноздри соломинки. Я всегда действовала нежно и аккуратно. Я подготавливала головы бернцев для Куртиуса.

– Ну вот, жители Берна больше не попадают к нам по кускам, – радостно констатировал Куртиус, – а всегда только целиком!

Одного недоставало: к Куртиусу никогда не приходили женщины.

Куртиус воспроизводил каждую морщинку, каждую пору, каждый шрамик и ямочку на коже. Для каждой головы он специально отрисовывал область глаз, испещрял бумажные листы рисунками носов с мельчайшими подробностями, делал акварельные эскизы. Когда делается слепок лица, глаза в целях безопасности всегда плотно закрыты, а когда головы почти закончены, глаза у них должны быть открыты, чтобы изваяние выглядело как живое. И Куртиус делал эти глаза, сверяясь со своими рисунками и заметками, добавляя их к каждой готовой голове. При изготовлении новой головы, я замечала, лицо самого Куртиуса менялось, он сам старался копировать взгляд незнакомца, словно пытался стать зеркальным отражением его лица, повторить все его изгибы, как это делает расплавленный воск.

Бернские жители постепенно протоптали дорогу к диковинному дому на Вельзерштрассе. К нему подкатывали богатые экипажи. И лишь один человек был не рад этому новому предприятию Куртиуса. Хирург Гофман при виде сонма чужих голов, на фоне которых тускнел его собственный восковой муляж, и опасаясь, как бы больница не лишилась своего анатома-скульптора, забеспокоился. То, чем увлекся Куртиус, увещевал он, едва ли возможно назвать наукой! И ежели он продолжит свою сомнительную практику, каковую следует счи-

тать чем-то вроде побочного увлечения, не более того, то Бернская больница больше не будет финансировать его работу. И в самом деле, довольно скоро Куртиусу урезали жалованье. Тем вечером, когда мы сидели в кухне, Куртиус произнес необычную речь. Хотя он говорил, опустив голову, словно обращаясь к тарелке с супом, я сочла, что речь предназначалась мне, а не картошке и луку в мясном бульоне.

– Доктор Гофман использовал мои скульптуры не только для обучения будущих хирургов, – начал он, – но для обучения всех людей. Это были уменьшенные изваяния больных. Меня вызывали делать муляжи в одном из отделений больницы. Я сидел в палате рядом с сифилитиками – то рассматривал сыпь на лице юноши, то копировал покрытый язвами язык женщины или мужское лицо, которого болезнь лишила носа. И всякий раз, когда я заканчивал эти уменьшенные муляжи, меня просили носить их по улицам Берна и показывать всем жителям. При этом я должен был всех предупреждать: вот смотрите, так выглядит оспа. Будьте бдительны! А так выглядит сифилис, а вот так – отравленный алкоголем, а этот – опиумом. Берегитесь!

Он помолчал. Проглотил ложку супа. И продолжал.

– В этом заключалась моя работа. А с такой работой не наладишь добрые взаимоотношения с соседями. Такая работа заставляет людей отшатываться от тебя. Каждое появление на пороге человека с подобным новым заказом лишает ощущения счастья. Люди сторонились меня! Сколько раз я жаловался хирургу Гофману – и наконец он освободил меня от домашних посещений. И я стал затворником, я никуда не выходил и никого не видел. Но я жаждал общения с людьми. И в конце концов хирург Гофман, хотя он и не одобрял этого, позволил мне завести слуг. Так вы появились у меня в доме, но твоя бедная матушка скончалась. Зато я больше не одинок, теперь люди хотят меня видеть. Ко мне приходят, на меня смотрят, и хотя мне нежимают руку, никто не отводит от меня взгляда! Когда-то я обретался только в компании смерти, днем и ночью, в окружении мертвых предметов, но теперь жизнь стоит у моего порога, и я говорю ей: входи! Входи! Тебя так давно тут не было, добро пожаловать в мой дом! И мне нравится эта новая жизнь! Но теперь, Мари, хирург Гофман заявляет, что он этого не потерпит! Что ж, хирургу Гофману неизвестно, что назад я уже не вернусь! Я больше не стану этим заниматься. Рядом с почкой всегда есть другая почка. А я всегда был уникален и одинок, как червеобразный отросток. Но с меня довольно! И все из-за тебя!

Он доел суп. Я взяла пустую плошку.

– Благодарю вас, сударь!

– Да, – отозвался он.

Куртиус не заметил моей улыбки.

Глава седьмая

Есть город далекий

К тому моменту, как Куртиусу снизили больничное жалование, он достаточно зарабатывал своими восковыми головами, чтобы не прозябать в нужде. Он заглянул в посудный шкаф и удостоверился, что запасов воска и прочих материалов хватает. Он продолжал вылеплять только головы. А счета исправно приходили. Счет за аренду дома, счет за материалы, потом еще пришло письмо с уведомлением о необходимости вернуть жалование за несколько месяцев, так как все это время он работал не на больницу, а исключительно на себя.

Однажды к Куртиусу пришли два иноземных визитера. Поглядев в замочную скважину, я поняла, что они не из больницы, и открыла им дверь.

– Прошу вас, господа, сюда! – вежливо обратилась я к ним.

Оба были облачены в строгое платье, одно серое, другое белое, и оба запыхались от быстрой ходьбы. Господин в белом достал из кармана блокнот, перо и походную чернильницу с откидной крышечкой на пружинке. Весь его белый сюртук был в синих пятнах. У него был выдающийся нос и небольшой подбородок.

– Мы наслышаны о вас, – обратился он к Куртиусу на хорошем немецком языке, хотя по нему было видно, что он прибыл издалека. – Ваша известность вышла за пределы вашего города. Итак. Время не терпит. Итак. Мы приехали, чтобы все увидеть собственными глазами.

И Куртиус пригласил обоих поглядеть на готовые восковые головы, выставленные на полке в ожидании заказчиков. Господин в белом мельком взглянул на головы, без приглашения уселся на стул и принялся листать блокнот. Господин в сером оглядывал головы куда дольше, чуть не вплотную приблизив свои темные глаза к восковым.

– Все вы – скульптурные портреты граждан Берна, – тихо произнес он, обращаясь к головам. – Я вас знаю. Я слышу ваш шепот в маленьких коридорчиках. Вы издаете тихое шипение. Потоки воздушных слов. И я чувствую ваше неодобрение.

Он отвернулся от шеренги голов, постоял немного в молчании, нагнулся и уронил голову себе в ладони, точно ему вдруг стало больно, и тихо простонал:

– Ну где мне обрести успокоение?

Вынув из кармана засохший стебель растения, он стал его разглядывать, безмятежно борю моча себе под нос:

– *Picris hieracioides*...² – эти слова вроде бы его утешили.

Господин в белом, полагая, что я чем-то растревожила господина в сером, махнул мне рукой.

– Оставь его в покое, неприглядное дитя, подойди ко мне. Он совсем не понимает детей. У него были собственные дети, но он их отослал прочь. Но я-то тебя прекрасно понимаю. Я, к примеру, могу сказать: тебе ужасно хочется узнать, что я пишу в своей книжечке так торопливо, не так ли? Ну, разумеется, хочется! Ну что ж, коли ты настаиваешь, я тебе скажу. Я вспоминаю свои прогулки. Мне только что пришла на ум одна из них. Я коллекционирую прогулки своей жизни. Кое-кто интересуется: неужели я исходил так много дорог только из любви к движению? На что я отвечаю: главное – не расстояния, которые ты прошел, а тщание. И поверь мне, все мои прогулки отличались великим тщанием. Ну а теперь, само собой, тебе хочется узнать, куда же я ходил. Не так ли, крошка-шалунья? – так он меня назвал и, по-видимому, весьма довольный своим наблюдением, продолжал обзывать, ни на мгновение не озаботив-

² Горлюха ястребинковая – цветковое растение семейства астровых.

шись, как я воспринимаю его оценки. – Крошечное уродище, крошечное чудовище в облике ребенка... малышка... крошечный волчонок... крошечная обладательница торчащего носа... крошечное обвинение человечеству... крошечная... крошка... – завершил он тираду, уже не в силах подобрать мне точное определение, кроме того, что я крошка, крошечное нечто...

Он почесал острый нос, взглянул на свои башмаки, и тут я впервые заметила, что на башмаки надеты полотняные мешки с завязками на лодыжках, а самих башмаков не видно. Но сейчас он распустил завязки и снял мешки – под ними оказались самые обычные мужские башмаки черной кожи, поношенные, с серебряными пряжками.



– Вот! – он снял один башмак и передал его мне. – Понюхай! Сунь в него свой хобот.

Я понюхала башмак. Из него дурно пахнуло.

– Ты знаешь, что это за запах? – спросил господин в сером.

– Это, – рискнула я ответить дерзостью, потому что этот человек был со мной так невежлив, – запах сгнившей ноги?

– Париж! – ответил он. – Это запах Парижа!

Так я впервые услышала название этого города. И повторила:

– Париж.

– В этих башмаках я исходил Париж вдоль и поперек, – продолжал он, – от моста Пон-Неф и рю Сент-Антуан до крошечных закоулочков. Мои башмаки провели меня по великому множеству улиц, которые я читал как предложения и записывал все, что видел. Я не обращаю внимания на памятники, большие церкви и исторические здания. Я говорю о людях. Счастливых, несчастных и тех, кто между ними. Я знаю их всех. Я вижу их во время своих пеших прогулок, и они населяют страницы моего блокнота. Открой любой мой блокнот, на любой странице, и ты сможешь учуять великий смрад и услышать какофонию Парижа. Прочти любое предложение, и ты зашагаешь рядом со мной, среди всех этих людей. Благодаря этим башмакам я видел их всех: утомленных энциклопедистов, гениев химии, членов Академии, актеров «Комеди франсэз» и «Гранд-опера», бульварных кукольников, мастеровитых сапожников, нервных изготовителей париков, уличных разносчиков-калек, чрезмерно тщательных данти-

стов, чудовищно неряшливых хирургов, старьевщиков, повитух, бандерш, карманных воришек с кожей, изрытой оспой и густо напудренной, королевских отпрысков и подкидышей – словом, все ингредиенты густого парижского супа.

Если верить его рассказу, довольно бойкое место этот город.

– Мы – неразлучная троица, – продолжал гость, – мой правый башмак, мой левый башмак и я. Мы вместе прошли через жуткие ужасы, но мы переступали через такие вещи. Иногда мы поскользнулись и падали, признаем, но всегда поднимались снова и шли дальше.

Он подхватил меня и усадил себе на колени. Мне это не слишком понравилось: поза неудобная, да и неприятно было ощущать мужские ляжки. Куртиус, который все это время притворялся, будто чем-то занят у своего верстака, едва не выронил огромный межкостный нож для вскрытия нижней части голени.

– А почему у вас эти мешки на башмаках, сударь? – поинтересовалась я.

– Потому, что я никогда не позволю своим башмакам соприкоснуться с булыжниками столь недостойных улиц, каковыми являются улицы Берна. Стоит мне покинуть Париж и оказаться в другом городе, как я сразу теряю ориентиры. Но в Париже ты можешь где угодно завязать мне глаза, раскрутить на одном месте и отпустить, и я сразу скажу, в каком из шестнадцати округов мы находимся, и не только это, но и на какой улице, более того, я смогу назвать даже имена людей, проживающих на этой улице. Я покинул мой город – и это ужасно! и для меня это невыносимо! – чтобы сопроводить сюда господина, которого ты так растревожила. Он же сейчас в изгнании. Его книги запрещены в Париже и преданы огню в Женеве.

Я повернулась к тому, другому. Он все еще рассматривал свое засохшее растение. И вот этот человек, подумала я, сочиняет книги? Книги, которые оскорбляют чувства людей?

– Она моя служанка, – наконец произнес Куртиус. Я радостно сползла с колен грубияна и встала рядом с верстаком своего хозяина.

Господин в белом указал на восковые головы.

– Впрочем, вы должны признать, что в целом их тут не так уж и много. Я не имею ничего против исполнения, ваша работа в высшей степени приемлемая. Но вот ваши типажи порождают у меня сомнения. С таким же успехом вы могли взять первого встречного на улицах Берна и объявить его стоящим всеобщего внимания, простолюдина, к которому выстроится очередь желающих его увидеть, при том, что все эти ваши головы принадлежат самым заурядным людям.

– Но у меня нет никаких предпочтений, – возразил Куртиус, – когда я работаю либо с частями тел, либо с головами.

– А может быть, стоило бы их иметь, – произнес говорливый господин. – Вам требуются лица, достойные вашего дара, лица, которые способны бросить вызов вашему мастерству. Вы можете продолжать лепить невзрачных субъектов, но сами подумайте вот о чем: как вы сможете развивать свое искусство, имея дело с такими посредственными, скучными, неодоухотворенными лицами? Вам следует поехать в Париж и открыть там цех. Вам это принесет успех. Это же просто трагедия, что вы попусту растрчиваете свой талант в Берне. Подумайте, какие головы вы могли бы изваять! Лучшие головы мира находятся в Париже, а не здесь. Хотя вряд ли вы рискнете туда поехать, да? Вы не похожи на человека, способного на такое, увы. Что ж, – сказал он напоследок, – если передумаете, то вот вам мой адрес.

Вырвав листок из своего блокнота, он черкнул там свое имя и адрес – слово «ПАРИЖ» было выведено размашисто, со множеством завитушек. Звали его Луи-Себастьян Мерсье.

– А этого господина с растением, – добавил Мерсье, – мы назовем месье Рену. Хотя это и не настоящее его имя. Мы зовем его Рену для отвода глаз. Вот он, – и тут Мерсье указал пальцем на своего спутника, – голова! Уверен, вы согласитесь со мной. Просто чтобы вы знали, раз уж вы доставили мне удовольствие, я шепну вам на ушко, кто он. В вашей мастерской стоит

никто иной, как автор «Эмиля» и «Общественного договора» собственной персоной! Что вы на это скажете?

Но мы с Куртиусом понятия не имели ни о трудах, ни о личности этого достославного господина.

– Будете в Париже, – проговорил Мерсье после того как мы не сумели должным образом отреагировать на его заявление, – если решите приехать туда, где только и можно найти стоящие головы, непременно загляните ко мне! Я бы с радостью упомянул о вас в своем блокноте, но увы, покрутившись в вашем Берне, я просто не могу себе этого позволить. Хотя, должен признать, вы – *необычный* экземпляр, с этими вашими головами и этой неприглядной крошечной-служанкой.

– Говорите, все хорошие головы в Париже? – спросил потрясенный Куртиус.

– И больше нигде! – кивая и улыбаясь, подтвердил мерсье Мерсье. – Пойдем, мой дорогой Рену – ведь сегодня ты Рену, – нам пора в путь! – Обернувшись к нам, он пояснил: – В городе мы постоянно находились под пристальным наблюдением и, оказавшись поблизости от вашей улицы, решили заглянуть к вам ненадолго. Теперь, думаю, можно без опаски идти дальше. Благодарю вас за уделенное нам время!

Куртиус проводил их до двери, Мерсье (чьи башмаки вновь оказались в плену мешков) энергично протянул ему на прощание руку и отвесил поклон несколько смятенному автору сих строк, но я нарочно отвернулась.

Я не придала этому визиту ни малейшего значения.

Глава восьмая

несколько тревожная

Хирург Гофман наконец-то пожаловал с последним предупреждением и мрачными посулами. Очень скоро, объявил он Куртиусу, а точнее, до конца недели, сюда нагрянут судебные приставы. Все имущество будет конфисковано Бернской больницей до тех пор, пока он не возместит весь свой весьма существенный долг. Он разорен, заявил хирург, он утонет в своих долгах. Была, впрочем, одна возможность, одна надежда на спасение: и хирург Гофман описал себя как доброго самаритянина, как единственного доброго друга Куртиуса, который исключил для него помещение в Бернской больнице, так что он сможет оставаться на территории этого мрачного учреждения, получая какое-никакое вспомоществование. Там его ждет надлежащий уход, он будет окружен заботой и сможет продолжать работу с анатомическими моделями без опасения отвлекаться на посторонние дела – короче говоря, заключил хирург Гофман, там он будет счастлив.

– А разве у меня неприятности? – спросил Куртиус. – Я что, в большой беде?

– О да, Филипп, боюсь, что так.

– Я не хочу неприятностей. Мне это совсем не нравится. Я обеспокоен, хирург Гофман, обеспокоен – и я боюсь.

– И правильно, Филипп, – отвечал хирург, – но тебе вредно так волноваться. Позволь я возьму на себя бремя твоих неприятностей. Ты не создан для житейских треволнений. О тебе нужно заботиться. Человек вроде тебя нуждается в защите. Переселяйся в больницу! Там для тебя уже готова комната. Там тебя будут каждый день кормить, обо всем позаботятся, тебе не о чем будет беспокоиться! И у тебя не будет больше финансовых затруднений, поскольку больница обеспечит тебя всем необходимым, у тебя вообще не будет нужды в деньгах. Я лично позабочусь о твоём удобстве, и только я, и никто больше, буду давать тебе заказы на работу. Я позабочусь, чтобы ты был постоянно загружен и работал на благо хирургии. Филипп, прояви благоразумие, пока я еще в силах тебе помочь. Если же ты отвергнешь мою помощь, я сильно опасаюсь, что за тобой придут и потащат тебя в тюрьму.

– В тюрьму! – в страхе выдохнул Куртиус.

– За воровство из больницы. То, что ты сделал, противозаконно.

– Но я же не знал! Я не знал!

– Впрочем, ты будешь в полной безопасности, Филипп, находясь за стенами больницы.

И пусть эти стены оберегают тебя от остального мира, и пусть за этими стенами происходит что угодно, ты же будешь в безопасности.

– Я буду в безопасности?

– Ну разумеется!

– И я буду делать свои муляжи?

– Конечно!

– Не головы?

– Ну, иногда и головы. Возможно. Внутренние органы голов.

– Но я больше не хочу лепить внутренние органы. Они меня угнетают, эти внутренности!

И они меня сводят с ума! – воскликнул Куртиус. – Мне больше радости доставляет лепить головы.

– Филипп, а сейчас у тебя много радости?

– Нет, вынужден признать, что нет.

– А все потому, что ты лепил эти головы. Это единственная причина твоих нынешних несчастий.

– А моя служанка? Она переедет туда со мной? Мы будем жить вместе в этой выделенной комнате?

– Это вообще-то не предусмотрено правилами больницы. Кроме того, тебе не понадобится служанка, поскольку ты будешь на полном обеспечении. Да и, по правде говоря, у тебя нет средств держать прислугу, не так ли? Но я помогу и в этом. Ее можно пристроить работать в больничной прачечной.

– Чтобы она там была среди грязных простыней пациентов, среди болезней? – пробормотал мой хозяин.

– Ну так что, Филипп, пойдешь прямо сейчас? – спросил хирург. – Полагаю, так будет лучше.

– Хорошо. Да, в прачечной.

– Сударь, сударь! – взмолилась я.

– Париж, – прошептал Куртиус.

– Что ты сказал? – спросил хирург.

– Ничего, – ответил Куртиус. – Хирург Гофман, дадите ли вы мне немного времени, чтобы собрать вещи? Я ведь весьма скрупулезный человек, мне нравится делать все размеренно, в спокойном расположении духа. На сборы, полагаю, уйдет неделя.

– Отлично, тогда я пришлю тебе посыльных. Через неделю. Молодец, Филипп, ты поступаешь благоразумно. Твой отец гордился бы тобой!

С этим хирург удалился. Больше я его никогда не видела.

– Я набрался смелости, – прошептал Куртиус, когда дверь закрылась. – Теперь я ничего не боюсь. И вы меня не испугаете, хирург Гофман, хотя нет, вы-то можете, еще как можете! – буркнул он в сторону двери. – Я очень боюсь, но и с вами, и с Берном покончено. Какой скучный, ничтожный городишко. Подлый и мелкотравчатый. Здесь не найти хороших голов, ни одной! Даже ваша голова, хирург Гофман, никуда не годится!

Куртиус вошел в мастерскую и начал собирать инструменты.

– Я могу вам помочь, сударь? – спросила я.

Он не ответил.

– Сударь! Что такое?

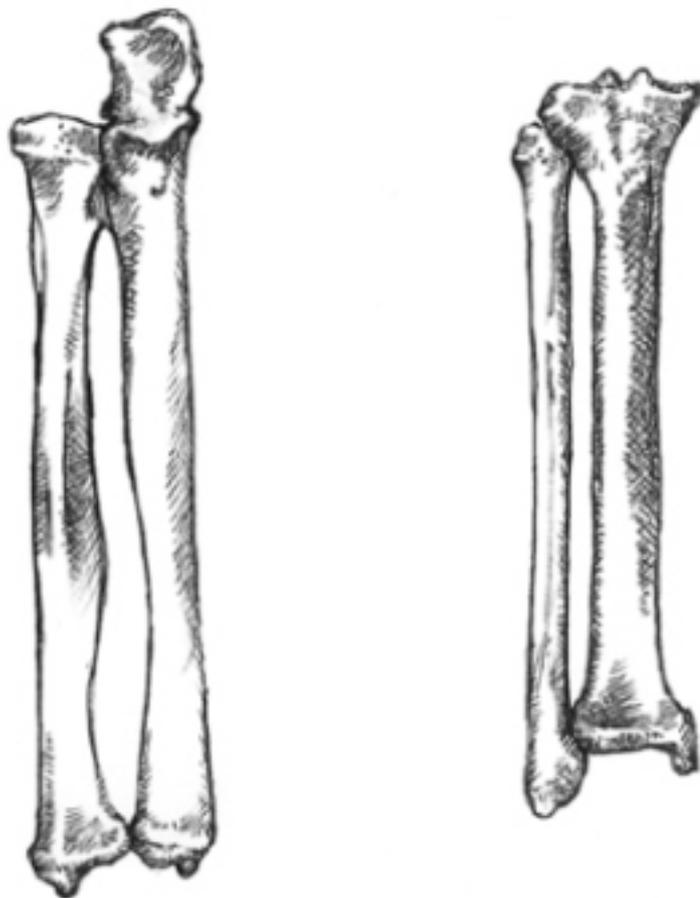
– Париж, Мари, – сказал он. – Париж!

Но ни слова о том, что он возьмет и меня с собой. Обо мне он вообще не упомянул.

– А я с вами? – спросила я. – Я могу разжигать плиту. Я знаю названия почти всех ваших инструментов. Я умею разглаживать лица людей. Я могу вставлять соломинки в ноздри. Я все это умею. А со временем многому другому обучусь. Сударь мой, прошу вас, прошу, возьмите меня с собой!

Куртиус отвлекся от сборов. Он поднял меня и усадил на стол, а сам присел, так что наши головы стали вровень.

– Кое-что произошло, – заметил он, и слезы брызнули из его глаз. – Ты разве не заметила? Нечто в высшей степени необычное. Так малая лучевая кость прикрепляется к длинной локтевой кости, так малая берцовая неотделима от большой берцовой. Мы теперь связаны – ты и я.



- Сударь?
- Я без тебя теперь не справлюсь.
- О, благодарю вас, сударь! Благодарю!
- Нет-нет, это я тебя благодарю.

Итак, мы едем в Париж. Вместе в Париж. Но как это сделать? Чтобы отправиться в Париж, нужно быть смелым. А чтобы набраться смелости, нужно продать кое-что, чтобы выручить денег. Кое-что из инструментов его отца, за изрядную сумму, две его книги. Чтобы набраться смелости. Нужно часто повторять: Париж, Париж, Париж... А чтобы набраться еще больше смелости, нужно достать все официальные бумаги, аккуратно сложить и убрать подальше бумагу, принадлежавшую мертвой маменьке. А чтобы помочь самой себе набраться смелости, нужно зажать в ладони несколько человеческих костей или восковых частей тела.

– Воск помогает людям в горести, – пояснил мой наставник, передавая мне надгортанный хрящ, вылепленный из воска. – В некоторых католических странах есть поверье, что если твой знакомый или родственник страдает от сильных болей в той или иной части тела, то ему следует купить восковую миниатюрную копию больного органа – увы, отвратительно вылепленную, но все равно передающую форму и назначение органа, – которую он затем должен положить в нужном месте в церкви, чтобы Господь смог увидеть, какая часть тела поражена недугом, и согласился бы помочь ему исцелиться. Вот почему воск помогает раненым.

Куртиус медленно, с усилием заставил себя выйти из дома и побрел по Вельзерштрассе – купить нам места в повозке. Потом ему стало дурно, он зашел за угол, и его там стошнило, немного попало на сюртук, но дело было сделано. И Марта, папенькина серебряная кюветка и кое-какая моя одежда были сложены вместе с прочими необходимыми вещами в рундук моего

деда. Но осталось еще много свободного места. И Куртиус с величайшей бережностью уложил туда мою восковую голову.

– Нам это понадобится, чтобы заявить о себе.

А инструменты, книги и приспособления, которые избежали продажи, он убрал в старый кожаный саквояж своего отца – потертый и потрескавшийся. Мы покинули жалкий дом на Вельзерштрассе в сопровождении двух больничных посыльных. Куртиус отдал им ключ от двери. Он сказал им, что мы идем на прогулку, после чего пообещал прийти в больницу.

– Идете на прогулку с рундуком? – удивились они.

– Ну да, – неуверенно ответил Куртиус, – да он же легкий. До больницы сам донесу.

– Мы его возьмем, – возразили посыльные. – Кладите!

– Не стоит беспокоиться! – заупрямился Куртиус. – Не стоит, право. Вот если вы перенесете туда мою мебель – письменный стол, книжные полки, вы окажете мне неоценимую помощь.

Этого, сказал мне Куртиус, вполне хватит, чтобы оплатить все его долги после нашего отъезда.

– Вот только с восковыми муляжами будьте предельно аккуратны, – печально предупредил он посыльных. – Они такие чудесные, и мне так грустно оставлять их здесь... даже ненадолго.

Мы вышли из дома. В нашем распоряжении, по расчетам Куртиуса, было несколько часов, пока нас не хватятся. И мы направились напрямик к гостинице, около которой конный экипаж собирал седоков. Экипаж мы ждали долго, и все это время Куртиус печально смотрел в землю. Но вот наконец задудел рожок, и маменькин рундук и кожаный саквояж Куртиуса разместили вместе с прочим багажом на задке. Наши места были сверху. Наконец лошади тронулись с места. Куртиус вновь расплакался.

Спустя полчаса мы выехали за городские ворота. Прощай, покойная моя маменька! Я вступаю, как папенька до моего рождения, в большой мир, отправляясь в те неведомые места, где наряду с прочими превратностями твоей судьбы ты мог потерять свою нижнюю челюсть. Берн остался позади.

Больше я сюда не вернусь.

**Книга вторая
1769–1771
Покойный портной**

До того как мне исполнилось десять лет.



Глава девятая

Невинные дети

Всю дорогу Куртиус молчал. Он втянул голову по самую макушку в воротник пальто и старался ее оттуда не высовывать. В Невшателе он поменял все бернские талеры на французские ливры. Перед тем как въехать во Францию, мы пересели в другой экипаж. В Дижоне мы заночевали. В крошечной комнатушке, снятой Куртиусом, стояла одна кровать, я спала у него в ногах. Куртиус подобрал колени к груди и во сне невольно пытался выпрямить ноги, а я просыпалась в тревоге и наблюдала, как к моему лицу приближаются галеры его ступней, вздымая волны на простыне. В следующую ночь в Осере мой наставник разговаривал во сне, произнося названия частей тела. А на следующий день наше путешествие наконец закончилось. Сначала Париж поразил меня запахом – затхлой вонью левого башмака господина по имени Луи-Себастьян Мерсье. Потом, по мере того как мы, сидя на крыше экипажа, приближались к городу, перед нашим взором Париж вырастал из грязно-желтой дымки: как набухшая язва на небе, прогрызающая плену зимнего воздуха, как возникший из ниоткуда тяжело дышащий великан. Чем ближе мы подъезжали к Парижу, тем мрачнее становилось вокруг, в воздухе плясали клочья грязи. Наконец мы подъехали к таможенной заставе на городской границе. Прямо перед нами тридцатифутовым препятствием высилась массивная угрюмая арка. Появились таможенники, сумрачные мужчины в зеленых мундирах. Нам грубо приказали спуститься на землю. Нас обшарили холодные руки. Все рундуки и сумки были сняты с экипажа, раскрыты и обысканы. Куртиус шепотом приговаривал, что он сейчас умрет. Я дрожала, боясь, что нас разлучат, ведь, случись такое, как же я смогу его опять отыскать? Все-все тщательно осмотрели. Мою восковую голову работы Куртиуса передавали из рук в руки, по очереди трясли, пока один из чиновников с отвращением не объявил, что в данном предмете нет ничего противозаконного. В наши бумаги поставили какие-то штампы и взмахом руки дозволили продолжать путь. Экипаж проехал под аркой, потом мимо нас проплыла серая угрюмая громада, которая, как я впоследствии узнала, была крепостью-тюрьмой, называемой Бастилия.

Считая про себя покосившиеся белостенные здания, я вновь почувствовала смрад города. Наверное, это был тот самый запах, что затаился в левом башмаке мерсье, но только здесь, в месте, где этот запах возник, он ощущался куда сильнее. Я подумала, что еще чуть-чуть, и этот запах доведет меня до удушья. Вокруг нашего экипажа сновали люди, чудом не попадая под копыта лошадей, – это были местные жители, грязные, как и улица, по которой мы ехали, и все они истошно орала. Наконец мы выехали на большую площадь. К нашему экипажу с грохотом приставили длинную лестницу, чтобы сидящие на крыше пассажиры смогли сойти вниз, и Куртиус, опасливо ступая по ступенькам, оказался на земле. У него занемели ноги и затекла спина, так что он не сразу выпрямился. За ним спустилась я. Стоило моим детским ногам впервые дотронуться до парижской мостовой, как они тут же покрылись уличной грязью. Я ни на шаг не отставала от Куртиуса, ухватившись рукой за полы его платья.

– Итак, – переведа дыхание, прошептал наконец Куртиус, – приветствую тебя, Париж. Я – Куртиус, Филипп Вильгельм Матиас. Я здесь. Я здесь. – Он поглядел на меня, ища моего согласия, и поспешно добавил: – Мы здесь, Мари!

– Париж, – проговорила я.

А Париж продолжал жить своей жизнью, нимало не изумившись нашему появлению.

– Вот нужный нам адрес, – сказал наставник, вытаскивая из кармана сильно помятый листок, который дал ему Мерсье.

Люди натыкались на нас, довольно грубо и бесцеремонно, – это была нескончаемая галерея парижских типажей. Красные носы, желтые глаза, коричневые зубы, в париках, наголо бритые, мужчины, женщины, в морщинах, с гладкой кожей, и все куда-то спешили по своим делам, и казалось, мы всем мешали и путались у них под ногами. Наконец Куртиусу удалось показать носильщику адрес Мерсье, и носильщик, печальный юнец с мучнисто-белесым лицом, взял у него несколько монеток и, быстро-быстро залопотав по-своему, из чего я ни слова не поняла, погрузил в свою тачку наш скарб. Прошагав по оживленным улицам, мы наконец добрались до дома Мерсье. Куртиус энергично постучал в дверь медной колотушкой, но на стук никто не отозвался. Носильщик, ни слова не говоря, улизнул, оставив нас одних под дверью с багажом. Мы присели на ступеньки крыльца и стали ждать. Так прошло часа два, или три, или четыре, и Куртиус все это время вслух размышлял, как там сейчас в Берне и что больница, в конце концов, не такое уж гиблое место, и что, возможно, если подумать, прачечная не такая кошмарная, как он себе представлял, и что работающие там прачки вовсе не обязательно должны подхватывать ту заразу, которую они соскребают с простыней тамошних больных. Я же раздумывала, как эти люди дошли до жизни такой, раз они спят одетые прямо на улице.

Наконец вдалеке раздался стук башмаков, звонко топотающих по мостовой, потом стук приблизился и прекратился. Мужской голос заговорил по-французски. Я подняла глаза и увидела Луи-Себастьяна Мерсье в башмаках, уже без нахлобученных мешков: покрытые слоем грязи, они были выставлены напоказ. К счастью, Мерсье вспомнил немецкий.

– Берн, не так ли? Что вы здесь делаете? Это же мой дом.

– Вы мне посоветовали, – начал Куртиус, – приехать в Париж. Путь оказался длинный, сударь, очень длинный.

– Я вам посоветовал? – удивился Мерсье. – Как приятно, что люди иногда меня слушают. Вы здесь на несколько дней?

– Я сбежал, сударь, – ответил Куртиус. – И не собираюсь туда возвращаться.

– Значит, вы к нам надолго, не так ли? Хотите, чтобы я о вас написал? Чем я могу быть вам полезным?

– Я леплю – то есть я лепил в Берне – головы.

– Да, да, я помню. И вы приехали сюда лепить головы? Только на сей раз парижские головы, головы людей значительных. Вы могли бы, к примеру, подумать о моей голове.

– Я предпочитаю головы, – подтвердил Куртиус.

– Вам есть где жить? – спросил Мерсье.

Куртиус отрицательно помотал головой.

– Послушайте моего совета. Для начала вам лучше найти жилье. Как у вас с деньгами?

– Я делаю головы. Я это умею.

– Это вы так считаете. И еще вы привезли с собой этого ребенка. Эту малышку с дерзким личиком, эту крошку с возмутительной внешностью.

– Ее зовут Мари.

– Она – крошечный выкрик! Крошечный протест. Крошечное оскорбление. Во всяком случае, крошечное нечто. Да, мне нравится Крошка. Крошка – так я буду ее называть.

– Она моя.

– Неужели?

– О да, безусловно.

– Тогда вам бы лучше добиться здесь успеха. А не то к армии парижан добавится не один, а два несчастных голодающих.

– Мне пришлось взять ее с собой.

– В самом деле? Это был акт милосердия, так?

– Она бы безусловно погибла в больничной прачечной.

Я бы погибла, мелькнула у меня в голове мысль, под горой грязных простыней? Но какое будущее ждет нас в городе, куда нас занесло? Насколько длинной окажется эта веревка?

– Ну, полагаю, ее бы там по крайней мере кормили, – заметил Мерсье, – у нее была бы работа.

– Вы же сами посоветовали мне сюда приехать. Больше мне ехать некуда.

– Безусловно, есть. Несомненно, есть.

Мерсье сказал Куртиусу, что тот, хотя и весьма беспечный человек, все же весьма отважный, и что хотя Париж перенаселен, здесь вообще-то можно найти немало мест обитания, еще не занятых, и даже множество таких, где знающий свое дело человек мог бы устроиться и жить, даже со служанкой, весьма припеваючи. Вакантное жилье нередко привлекает внимание пешеходов благодаря клочкам бумаги, прилепленным к дверям или стенам домов. Мерсье начал перечислять Куртиусу комнаты, свободные для съема. Можно поселиться в доме у кожевенных дел мастера – это около реки, хотя дом пользуется дурной славой: несколько лет назад один тамошний постоялец умер во сне, и его кожа приобрела странный оттенок. Куртиусу это совсем не понравилось. Имея немалый медицинский опыт, заявил Мерсье, Куртиус мог бы подумать о комнатах во втором этаже дома цирюльника. Нет, наотрез отказался Куртиус, который и слышать не хотел о чем-то, связанном с врачебным делом, решив раз и навсегда покончить с этой профессией. По той же причине он отказался и от размещения у производителя лекарственных снадобий, торговца ножами, торговца эликсирами и гробовщика. Наконец Мерсье предложил квартиру, которой владела дама, вдова, чей покойный супруг занимался портновским делом. С нею в доме проживал также сын, обучающийся тому же ремеслу.

– Дама? – переспросил Куртиус.

– В Париже немало подобных созданий.

– Но я не имею дел с женщинами!

– А как же Крошка?

– Ну, она, полагаю, не в счет. Это же восьмилетняя малышка Мари, и она меня не пугает. Иногда я даже забываю, что она относится к женскому полу, вообще она мне представляется бесполом существом – или существом особого пола. Есть люди мужского пола, женского пола и Мари. Она – моя Мари.

Да, я принадлежала ему. Я это знала. Больше ничего не имело значения.

– И к тому же, – добавил Куртиус, – мне вполне достаточно ее компании. Нет, я не веду дела с женской половиной человечества. Никогда.

– Вам что, не нужна моя помощь? – спросил раздраженно Мерсье. – Тогда я войду к себе в дом и запрусь там.

– О да, еще как нужна, прошу вас! Мне нужна ваша помощь! Ладно, пусть будет женщина! Пусть так.

– Вдова портного.

– Ладно, хорошо. Пусть будет так.

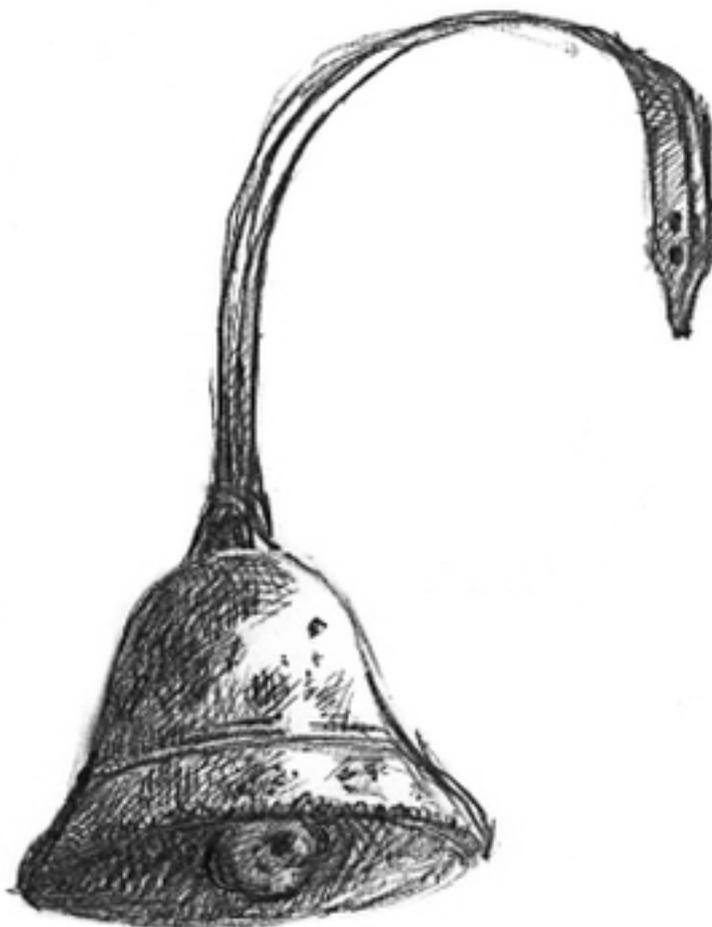
– Отлично. Тогда решено. Я позову двуколку.

– О, Боже!

– Теперь, – заметил Мерсье, – коль скоро вы оказались в Париже, жизнь для вас, можно сказать, только начинается. Обо всем, что было до этого, можно позабыть. Да поглядите на себя со стороны: вы же как невинные дети, впервые оказавшиеся в магазине игрушек, где у вас разбегаются глаза. Вы совсем еще не разбираетесь в игрушках, и приятелей для игр у вас нет... Но у вас будет предостаточно времени, чтобы в этом во всем разобраться. Пойдемте, пора знакомиться!

Мерсье нашел для нас двуколку, за которую пришлось выложить еще денег. Мы быстро покатали по извилистым улочкам и наконец добрались до нужного дома. В тесно застроенном квартале в середине рю дю Пти-Муан, что в предместье Фобур Сан-Марсель, стоял угрюмый

домишко, на фасаде которого на двух ржавых проволочках болталась кривая вывеска с единственным словом, выведенным черной краской. Слово на вывеске было: TAILLEUR. Портной. Во всех окнах висели засаленные черные куски ткани, и весь дом, казалось, был затянут черным. Здесь недавно умер портной. Мерсье протянул руку к двери. Когда он ее толкнул и открыл, дважды звякнул колокольчик, прорезавший кромешную тишину. Звук был печальный, два скорбных звяканья, словно проговоривших: «Это... Больно...» Потом я привыкну к этому колокольчику, к его глуховатому, словно задеревенелому дробному звяканью, похожему на стук почечного камня, который хранился у Куртиуса в Берне. Наконец кто-то подошел к двери. Это был мальчик без особых внешних примет – с бледным, пресным лицом: должно быть, сын вдовы. Мерсье заговорил с ним, и через несколько мгновений мальчик все с таким же пресным лицом чуть кивнул, развернулся и исчез во тьме. Мы двинулись следом за ним по темному коридору. Дом был объят горем, не слышалось ни звука, только тихое шуршание платья Мерсье, шагающего вперед, даже его башмаки ступали бесшумно по покрытому ковром полу. Было темно, и пахло затхлостью. Не только окна были задрапированы черным, но и, казалось, все предметы обстановки облачены в черные саваны – в темном доме не виднелось ни одного угла. Продвигаясь ощупью вдоль темных стен, мы миновали задние комнаты, пока не очутились в помещении с одинокой свечой, которая тускло освещала множество рулонов темной ткани. Когда сын портного приблизился к одной штуке ткани, та чуть шевельнулась, из нее высунулась рука и нежно коснулась преснолицего мальчика, и я заметила, что тот вроде как назвал эту гору ткани «маман» и что в ней пряталась женская фигура – вдова, которая медленно повернулась к нам. Голова Шарлотты, или вдовы Пико, чуть не утонула в огромном черном капоре, и ее лицо с обеих сторон было стиснуто жесткой траурной тканью, хотя две пряди волос упрямо выпростались наружу и обрамляли ее крупные щеки. У нее были полное красное лицо, большие губы и глубоко посаженные темные глаза. В лице вдовы угадывались почти неуловимые приметы девичьей внешности, так что можно было вообразить себе ее в дни юности, прежде чем зрелость начала накладывать на внешность свой отпечаток. Женщину нельзя было назвать непривлекательной, но, казалось, годы тревог неумолимо вытеснили ее прежнюю красоту. Мерсье объяснил вдове, что мы пришли снять у нее комнаты.



– Головы, – пробормотал Куртиус, чтобы Мерсье перевел. – Я занимаюсь изготовлением голов.

Мне приказали развернуть свою восковую голову и поднести к своей собственной. Я закрыла глаза, чтобы усилить эффект сходства.

Когда вдова что-то воскликнула, Мерсье перевел:

– Но они же одинаковые!

– Да, о да! – с гордостью произнес Куртиус и хлопнул в ладоши.

– Как вы это делаете? – спросила вдова.

– Это мое ремесло.

– И вы можете лепить любые головы? – засомневалась женщина. – Или только ее?

– Любые, и вообще все, что угодно, – ответил мой наставник, – все, что имеет поверхность.

– Вы зарабатываете на жизнь изготовлением голов? – уточнила вдова через Мерсье.

– Хотелось бы на это надеяться.

– Она настаивает, чтобы вы этим не занимались у себя в спальне, – заметил Мерсье. – Таковы здешние правила. Она сдаст вам отдельную комнату для работы.

Вдова указала пальцем на меня. Мерсье объяснил, что я помощница Куртиуса. На что та заметила:

– У нас когда-то была служанка. Но ей пришлось вернуться к своей родне в деревню.

– Я разжигаю огонь, – осмелилась я рассказать о себе. – Я знаю все инструменты. Я толку пигменты в ступке. Я...

– Было бы очень кстати, – перебила вдова, – если в доме снова появится служанка. Полетта обычно спала в чулане при кухне. Это вам подойдет?

Куртиус счел, что подойдет. Но и за эту комнатку тоже полагалась отдельная плата.

– А стирать она умеет? – осведомилась вдова.

Куртиус сообщил, что я готовила для него, и вообще весьма высоко отозвался о моих способностях, заставив меня расплыться в довольной ухмылке, и потом я все не могла скрыть улыбку, когда они пустились обсуждать другие вещи.

– Что ж, добро пожаловать в дом Пико, – произнесла вдова. – Вы убедитесь, что мы очень милые люди, очень душевные, ныне очень скорбящие. Не будьте с нами грубы. Мы очень ранимы. Мы плачем почти по любому поводу, мы очень чувствительны, мой сын Эдмон и я. – Да, я совсем забыла про сына вдовы, а ведь все это время он стоял рядом, бледный и неприметный. – Проявляйте к нам доброту!

– О, разумеется! – с жаром воскликнул Куртиус.

Она протянула руку. Мне на минуту показалось, что Куртиус запаниковал и чуть не бросился ее целовать, но тут Мерсье все разъяснил:

– Деньги!

Куртиус прибыл сюда с намерением снять одну комнату, но за десять минут вдова вынудила его снять целых три.

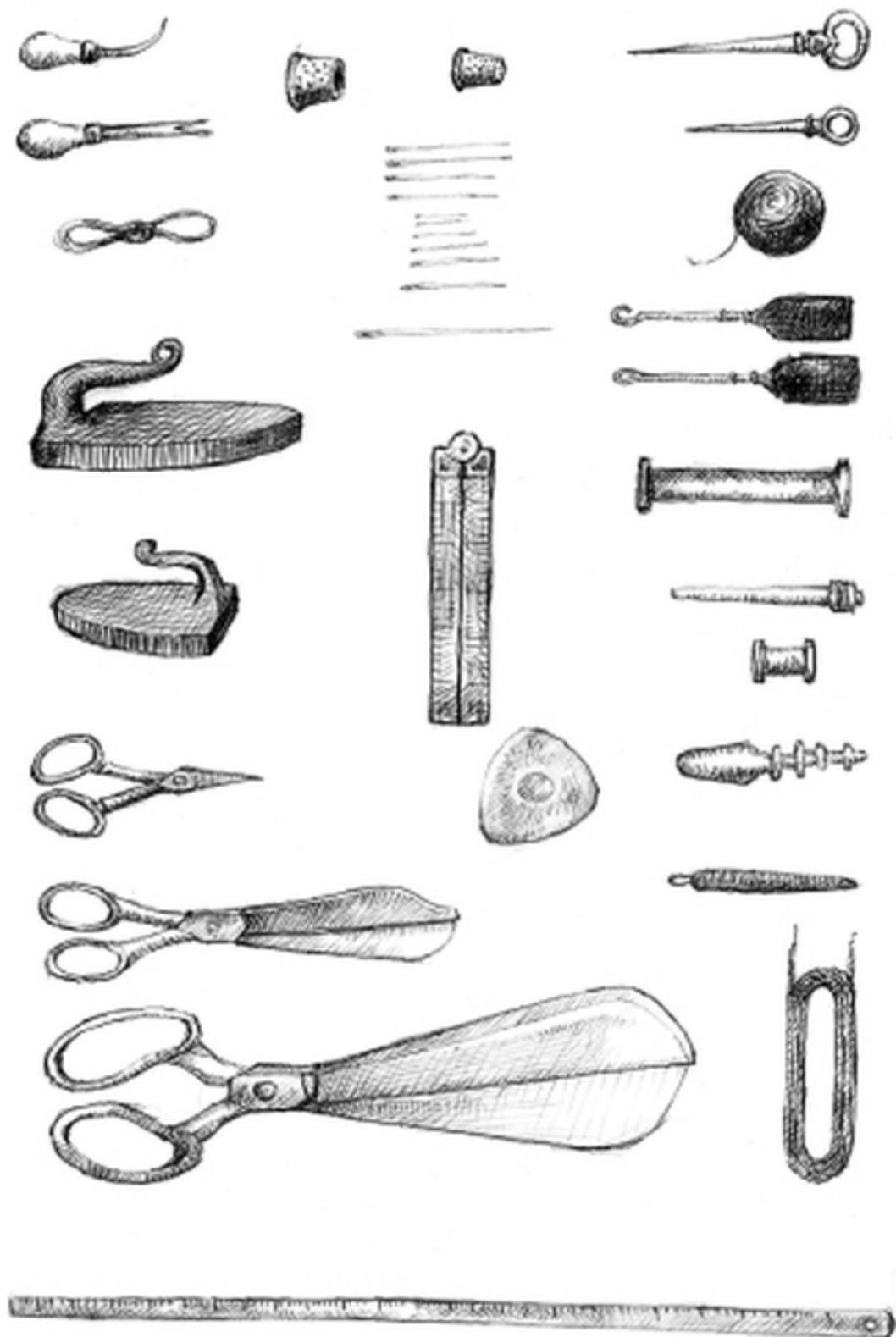
– И последнее, – заметила вдова. – Прошу, отдайте мне ваши бумаги. Я за ними пригляжу.

– Мои бумаги? – изумился Куртиус.

– Да, в качестве гарантии, что вы не сбежите, когда придет срок платить за комнаты.

Он передал ей наши документы. Я засомневалась, что он поступает правильно. Ведь это же официальные бумаги, удостоверяющие нашу личность, и нам надобно было хранить их у себя.

Вдова отвела сына в сторонку, и через мгновение я услышала звяканье колокольчика: мальчик-молчун вышел на улицу. А вдова повела нас показывать дом. Вот рабочие столы, вот портновские инструменты, вот шпульки ниток, вот портновские мелки в форме речной гальки. Среди всего этого ералаша на полу, на столах располагался портновский мир, аккуратный и упорядоченный. Масса ножниц, инструменты для прокалывания и кройки тканей, скребки для полотна, разнообразные иглы, а еще утюги и шила, веретена и измерительные ленты.

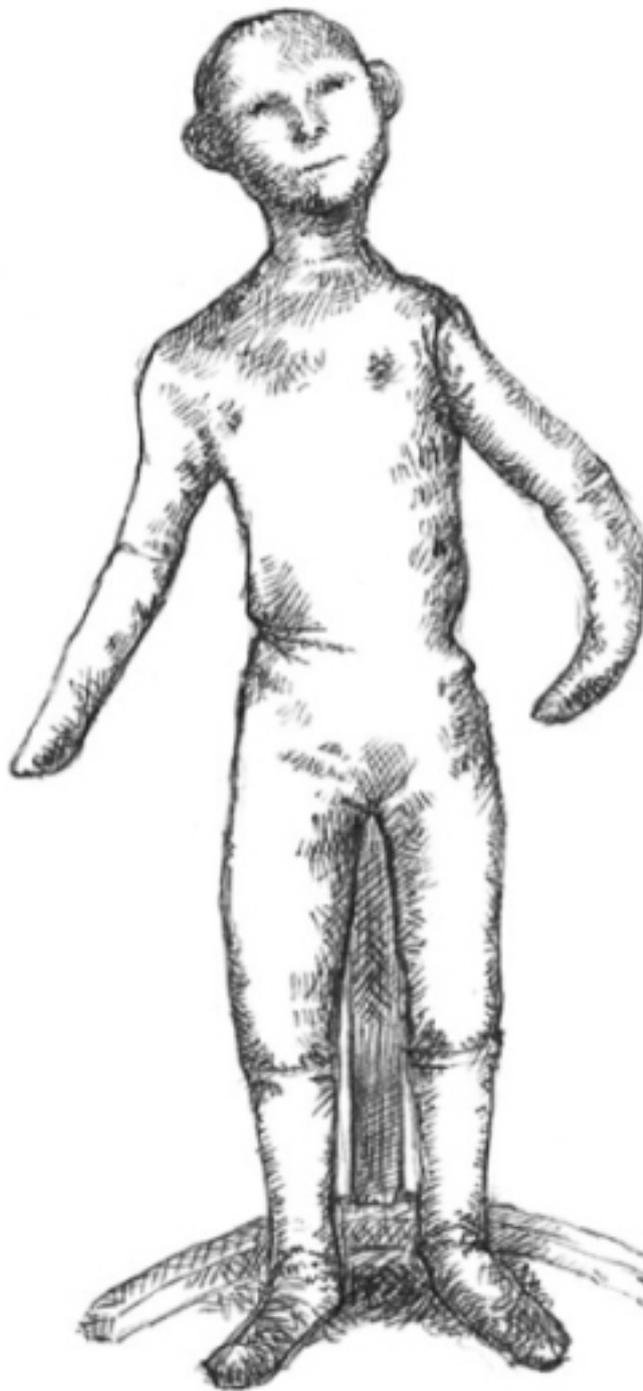


– Пожалуй, я ее понимаю, – прошептал Куртиус. – Я же не бесчувственный.

Тут же стояли четыре портновских манекена, сделанные в форме человеческих туловищ, но без голов, рук и ног. Были и еще три фигуры, но, в отличие от портновских манекенов, с конечностями и головами. Их голени оканчивались ступнями, одетыми в чулки, а кисти

рук при ближайшем рассмотрении оказались плоскими колотушками в форме ладоней, скорее похожими на рукавицы, нежели на руки. Из двух туловищ одно было женское, одно – мужское, у всех одинаковые плоские лица с грубо очерченными носами и глазами, которые обозначали нарисованные брови, а губы изображались двумя тонкими красными линиями, вышитыми нитками и плотно прижатыми друг к другу. Это были не настоящие люди, а магазинные манекены, сделанные из кусков ткани и набитые ватой. Их ставили в витринах магазинов, обрядив в образцы одежды, которую надо было продать. Поначалу можно было подумать, что это многочисленные обитатели дома вдовы, но потом становилось ясно, что в ее ателье собралась толпа весьма ненадежных компаньонов.

Вдова указала на угол, где стоял предмет, напоминающий человеческое туловище под темной тканью.



– Анри Пико, – шепнула она.

– Под этим покрывалом, – перевел Мерсье для вдовы свое пояснение, – находится портновский манекен, сделанный по меркам туловища покойного супруга этой дамы. Это первый манекен, который они с мужем изготовили, и она им очень дорожит. Она настоятельно просит вас не прикасаться к нему. Она весьма категорична в этом отношении.

Это было средоточие скорби вдовы Пико, словно предмет под черным покрывалом символизировал ее безутешное вдовье сердце.

Нас отвели в кухню в задней части дома. Вдова жестом попросила меня выйти вперед. Мне показали плиту и поленья, и чуланчик для хранения угля, кастрюли и сковородки, разделочные доски, крюки и висящую на них утварь.

– Я буду готовить вам еду здесь, сударь? – спросила я.

– Полагаю, да, Мари.

Вдова отворила дверку рядом с кухней. За дверкой оказался темный чуланчик, крошечный и сырой. Внутри стояла деревянная лежанка с соломенным тюфяком. Окон не было. Куртиус мрачно взглянул на вдову, потом на меня.

– Комната, Мари. Очень хорошая. Ты тут будешь спать.

– Да, сударь. Сударь, а нельзя ли мне будет спать в вашей мастерской?

Куртиус переадресовал мой вопрос вдове. Та покачала головой.

– Полагаю, – заметил Куртиус, – подобные вещи не в парижских правилах. Нам надо поступать так, как привыкли в Париже.

Комната Куртиуса располагалась в верхнем этаже: два окна, темная кровать с продавленным матрасом, на котором явно ворочалось немалое число почивших Пико до того, как телу Куртиуса выпал черед оставить на нем свою длинную впадину.

– Я тут буду прекрасно себя чувствовать! – с готовностью произнес мой наставник, хотя лицо его исказила гримаса ужаса.

Глухо звякнул колокольчик: вернулся сын портного. Его послали купить провизии, так как мы должны были сесть обедать вместе. И Мерсье согласился остаться. Столовая комната в доме Пико была весьма сумрачная, и вдова, ее сын, Мерсье и Куртиус, усевшись за столом, принялись за поданное холодное мясо и сыр. Я уже собралась было присоединиться к сидящим за столом, как вдова Пико громко осадил меня. Видно, прислуга в Париже не обедала со своими хозяевами.

– Это не в парижских обычаях, – пояснил Мерсье. – Крошка, думаю, тебе придется есть на кухне.

Я взглянула на Куртиуса.

– Мне еще нужно многому учиться, – пробормотал он.

– У иностранца здесь нет друзей, – кивнул Мерсье, – он непонятливое и никчемное существо, чье поведение вечно вызывает только гневные окрики. Запершись в своей съемной комнате, он смотрит оттуда на парижскую жизнь и ничего не понимает. Иностранцы должны выучить французский язык, иначе им суждено так и остаться взаперти.

– Что ж, тогда я выучу французский, – заявил Куртиус.

Мерсье предложил найти ему учителя. Вдова вновь подала голос, и, хотя я тогда еще плохо понимала французский, на сей раз я ее прекрасно поняла.

– Почему эта девочка все еще тут?

Я отправилась в кухню и там поела – в полном одиночестве за кухонным столом. Пришлось к этому привыкать. Пришел мальчик с пресным лицом и показал мне, где у них хранится вода, где стоит ведро с золой для мытья кастрюль, после чего мне надо было убрать со стола грязную посуду – не только за Куртиусом, но за всеми. А потом меня навестил Куртиус.

– С завтрашнего дня я начну заниматься французским. Вдова согласилась помочь мне в овладении языком – она очень способная женщина – за небольшую плату. Завтра зайдет Мерсье обсудить наши дела. Мари, ты в порядке? – Но, не дожидаясь от меня ответа, он продолжал: – Ну вот мы и прибыли. Париж, Мари, это Париж!

В моем чуланчике с закрытой дверью было темно и душно. Я достала свои пожитки – папенькину челюсть, маменькину Библию, Марту. Лежа без движения, я слышала сдавленные рыдания отсыревших стен.

Глава десятая

Вторая группа голов

Первым восковым изваянием, которое мы вылепили в Париже, была голова Луи-Себастьяна Мерсье. Мерсье объяснил Куртиусу, что ему вовсе не обязательно платить за работу, поскольку, по его мнению, он оказывал моему наставнику услугу, ибо демонстрация этой головы будущим клиентам могла стать лучшим способом познакомить парижан с великим даром Куртиуса.

– Можно, конечно, показывать голову Крошки, но признайте, неважно, сколь велико сходство портрета с оригиналом, неважно, с какой любовью он выполнен, все равно это всего лишь портрет ребенка с курьезным личиком. Вам следует изобразить лицо упитанное – как мое! – При этом Мерсье ущипнул себя за щеки. – Вот подходящее лицо!



Голова сплетника

У него и правда было мясистое лицо. Мерсье настоял, чтобы Куртиус вылепил не только его голову, но и шею и даже часть торса, чтобы получился, как он выразился, настоящий бюст, доказывающий, что обычный человек достоин сравнения с древними философами и им можно любоваться просто потому, что он – человек, и что мы все должны учиться выглядеть достойно. Такое новшество в нашей работе и впрямь помогло скульптуре иметь более законченный вид, а не выглядеть так, будто голова оторвалась от тела. Проведя рукой по своему восковому лицу, Мерсье не устал восхищаться:

– Какая точная карта! Какой четкий рельеф! Все шестнадцать округов моей головы – вот они! – И, постучав по восковому носу, добавил: – А это мой собор Нотр-Дам.

Мерсье показал Куртиусу лавки в городе, где он мог приобретать необходимые для работы материалы. Я с ними не ходила. Вдова осведомилась, смогу ли я ей помогать по хозяйству, и Куртиус ответил утвердительно. Она ткнула пальцем в пол кухни и в швабру, кивнула, улыбнулась и удалилась.

– Больше всего на свете, сударь, – сказала я ему потом, – мне хочется быть вашей помощницей.

– Ну конечно! – согласился он.

– Вы же, сударь, сами меня обучили вам помогать.

– Да, конечно, но нам нужно помогать этой несчастной вдове. Она же так страдает! Мари, хочешь, я расскажу тебе одну историю? Вот она. Жила-была на свете одинокая кость. День за днем она всегда оставалась одна. Но неожиданно в ее жизни появилась еще одна кость, а потом еще.

– О каких именно костях вы рассказываете, сударь?

– Ты хочешь узнать, как они назывались?

– Да, сударь.

– Так. Поглядим. Вероятно, это были позвонки. Ребра. Неважно.

– Как же это неважно, сударь? Вы же сами говорили...

– Ну, я не могу точно сказать, что это были за кости. Мне это все в новинку. Пойми, я раньше никогда не имел дела с женщиной, в моей жизни еще не было женщин. А теперь, вероятно, у нас будут новые кости и, возможно, постепенно из них вырастет новое существо. Какое существо – я пока не знаю. Но эти новые кости, они подгоняются друг к другу, великолепно подгоняются, но к ним нужно привыкнуть. Процесс болезненный, конечно, с этим надо смириться: пока происходит притирка частей, сначала бывает больно, без этого никак...

Мои обязанности распределялись между Куртиусом и вдовой. Между ателье и кухней. Она хотела, чтобы я прибиралась и начищала мебель во всем доме. Первое время я по возможности долго притворялась, будто не понимаю ее, пряталась за своим немецким языком и вынуждала ее изображать жестами, чего она от меня хочет. Она показывала на замызганные окна, взяв в руки тряпку, я кланялась и дожидалась, когда она выйдет за дверь, после чего разворачивалась и бежала к Куртиусу и его инструментам.

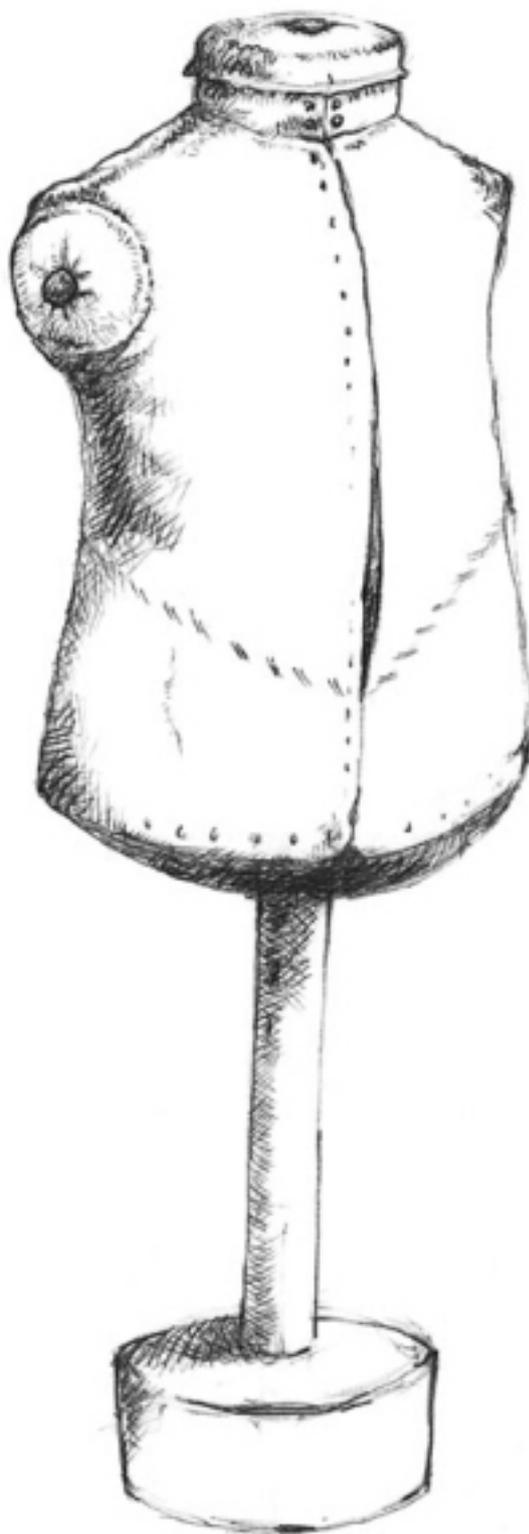
Сначала у нас было всего несколько заказчиков – знакомые Мерсье, мелкие ремесленники и торговцы. Первым был сапожник Мерсье, которому тот показал свой бюст. Поначалу мерсье Орсан не понимал, зачем лепить из воска бюст: ему очень нравились нижние конечности, и его совершенно не интересовала верхняя часть туловища, но в конце концов он согласился, тем более что работа обошлась ему не слишком дорого. Но выставив свою голову в витрине сапожной мастерской, он быстро понял, что парижане заметили его среди прочих городских сапожников – отныне он стоял особняком. И люди решили, что могут доверить свои ноги этой голове.

После этого наш дверной колокольчик не умолкал. Мерсье привел в нашу мастерскую новых состоятельных заказчиков. Я раскладывала инструменты на столе, разжигала огонь в плите, растирала пигменты. Напоследок извлекался воск, но этим всегда занимался Куртиус: с куском воска в руках он чувствовал себя в своей тарелке и был счастлив. С воском он начал входить во вкус парижской жизни.

Очень скоро дверной колокольчик стал возвещать о приходе клиентов к Куртиусу чаще, чем к вдове Пико, как будто парижане теперь меньше нуждались в ее услугах. Обязанности по уборке давали мне большую свободу перемещения по дому, поэтому я бродила из комнаты в комнату, внизу и наверху, знакомясь с домом и вещами в нем. Удостоверившись, что осталась одна, я выдвигала ящики, открывала дверцы шкафов, где обнаруживала в основном пустые полки и мышинный помет. Когда я входила в ту или иную комнату, мне приходилось держать ухо востро, потому как иногда, оглядевшись, я вдруг замечала, что сын вдовы Эдмон стоит или сидит в углу не шелохнувшись, повернув ко мне свое бледное лицо и неотрывно глядя на меня. Чаще всего я заставала его в комнате покойного отца, рядом с портновским манекеном, из-за чего мне никак не удавалось заглянуть под черную ткань, наброшенную на этот манекен. Когда мои глаза привыкли к царящему в доме полумраку, я ухитрялась передвигаться в темноте и

на ощупь узнавать, где что лежит; к тому же я стала яснее видеть все, что происходит в этом доме. Под покровом скорби я сумела разглядеть еще кое-что, нечто потаенное. Скорбь могла это утаить, если вы наведывались в комнаты ненадолго, или если у вас было неважное зрение, или если вы заходили только в определенные комнаты – например, в столовую или в переднюю, где витринные манекены были облачены в скроенные портновской рукой платья вдовы. Но это потаенное нечто присутствовало и там: оно прогрызло дыры в портьерах, обкусало края керамической посуды, разбило стекла в окнах, истрепало до дыр простыни; из-за него с наступлением темноты в доме не зажигались свечи, и пустые полки буфета не заполнялись сервизами. Это скрываемое нечто была нищета. Портновское дело вдовы пришло в упадок. В тот первый вечер, когда мы сюда пришли, Эдмона послали за провизией, потому что в доме Пико не оказалось еды! И только получив от Куртиуса оплату за проживание, вдова разжилась деньгами.

Как-то вечером я сидела и молча глядела на черное покрывало на манекене, сделанном по фигуре покойного портного Анри Пико. В комнате, кроме меня, никого не было, я была уверена в этом. Запретный предмет стоял прямо передо мной. И мне захотелось хоть одним глазком на него взглянуть. Я приподняла черную ткань. Под ней оказалась фигура пузатого мужчины: старая древесина да полусгнившая холстина – вот и все, что напоминало о покойном месье Пико. Ткань, из которой была сделана грудь манекена, уже не обтягивала деревянный каркас, но провисла внутрь, а сам каркас утратил былую твердость и полировку. Я вообразила себе Анри Пико, когда тот еще был молод и крепок, этаким щеголеватым господином с безукоризненными манерами, портным в расцвете лет, женившимся на молоденькой толстушке, который ловко кроил и шил для нее платья и вообще знал толк в пошиве женской одежды, и вскоре, до того как его жизнь внезапно оборвалась, у них родился сын. Я понимала, что мужчина по имени Анри Пико фактически существовал, но могла представить его себе только в виде дряхлого манекена, стоящего перед мной тем вечером, ну или как чуть отреставрированную версию манекена – маленького траченного молью господина с полотняной головой и туловищем из серой поблекшей ткани, с расплзшимися швами, с белесыми пуговицами вместо глаз.



Я уже собралась было накинуть обратно черное покрывало, как вдруг за моей спиной послышался шорох. В комнату вошла вдова. Она бесшумно вплыла в комнату, звук ее шагов был заглушен траурным одеянием.

Далее последовал взрыв ярости, мотание головой и вопли, ее и мои. Словно я вырыла из земли гроб с ее бедным мужем. Словно я нагло паялилась на чей-то труп, не предназначенный для чужих глаз.

Вбежал Куртиус.

– Мари, это я виноват! – заявил он, поняв, в чем дело. – Мари, винить во всем следует меня. Наверное, мне бы следовало тебя высечь. Наверное, я буду сечь тебя раз в неделю. Меня частенько били в детстве. Сама понимаешь, мой отец и его любовь к порядку. Я сказал себе, когда в Берне хирург позволил мне оставить тебя, я сказал себе: детей надо приучать к дисциплине – это я хорошо запомнил! – но я ничего для этого не делал.

Вдова с раскрасневшимся лицом энергично кивала, но когда Куртиус закончил говорить эти ужасные слова, она сочла, что их недостаточно, потому что она подскочила и со всего размаху больно ударила меня ладонью по щеке.

Шлепок от короткого, но весьма ощутимого соприкосновения ее безжалостной ладони с моей детской щекой получился громкий, прямо скажем, оглушительный. Мне было больно и обидно, я была взбешена и ждала, что вот сейчас Куртиус ударит вдову в отместку за меня, заорет на нее в гневе и ярости.

Но он ничего не сделал.

– Сударь! – вскричала я. – Сударь мой!

Вид у него был изумленный и несчастный, но он только стоял и шептал:

– Ах, Мари. Прошу вас, дорогая вдова, довольно!

Его только на это и хватило. Вымолвив эти слова, мой хозяин стоял столбом и беспомощно кусал костяшки пальцев. Это тоже, считайте, ничего. И это было самое ужасное ничего, самое гадкое ничего, потому как это ничего дало вдове понять, что она имеет надо мной полную власть. Покрывало вернули на манекен, Анри Пико мог опять погрузиться в свой смертный сон. Меня поспешно водворили в мой чулан, захлопнув за мной дверь и даже не запалив свечу. Я услышала, как отворилась дверь мастерской и туда вошли Куртиус вместе со вдовой. И я осталась одна с распухшей щекой.

Глава одиннадцатая

События принимают ужасный оборот

В прошлой жизни у Куртиуса не было женщин. Его матушка умерла при родах, и его появление на свет совпало с ее уходом. Но вот появилась женщина, которая весьма шокировала его своим присутствием. Очень быстро он позволил ей принимать за себя решения. Он стоял по стойке смирно, пока она смахивала крошки с его сюртука.

При этом известность Куртиуса росла. Его мастерская стала самой главной комнатой в доме. Люди приходили, и их встречали приветливо, с ними вступали в беседу, и всегда вокруг них крутился улыбающийся Мерсье. Мастерская, где обретался Куртиус с воском, купалась в ярких цветах. Только в этой небольшой части дома можно было почувствовать себя счастливым. И кто бы мог устоять перед обаянием этого помещения? Только не вдова: она постоянно заходила в ателье, наблюдала за работой Куртиуса, изучала его приемы, иногда подносила ему стакан вина, хотя он ее и не просил, и, садясь рядом с ним, смотрела, как под его руками возникают восковые головы. После ее ухода я замечала, что в ателье частенько оставались ее волосы. Мне эти волосы представлялись шпионами, поэтому, находя их, я всегда хватала их и сжигала в печке.

Мы с вдовой сражались за Куртиуса. Ей требовалось его безраздельное внимание, а я ей мешала, и она мечтала от меня избавиться. Временами, приходя в мастерскую из кухни, я обнаруживала, что, пользуясь моим отсутствием, вдова располагалась там. Скоро она начала угощать вином клиентов Куртиуса. Чуть позже помимо вина клиентам стали предлагаться и легкие закуски. Куртиус ничего не предпринимал, чтобы ей воспрепятствовать. Ему все это чрезвычайно льстило – хуже того, он даже рассыпался перед вдовой в благодарностях, а крошки со стола падали на пол и хрустели под ногами, и мне потом приходилось отскрести их от половиц ногтем или кончиком ножа. Но неприятнее всего мне была она сама, эта женщина в неизменном вдовьем трауре, с ее запахом, с падающими на пол волосинками, с ее отвратительными замашками – меня бесило, как она причмокивала губами или как, заходя в ателье без приглашения и усаживаясь на стул, разглаживала ладонями платье на коленях. Ну и женщина. Поначалу она сидела молча и наблюдала за работой Куртиуса, разглядывала восковые бюсты на полках. А потом внезапно перешла в наступление. Однажды днем после обеда вдова вдруг поднялась со стула и вышла. И вскоре вернулась с сюртуком из своего магазина. Она расправила сюртук, потрясла им перед глазами Куртиуса и кивнула на недавно изготовленный бюст торговца свечами. Куртиус, побледнев от ужаса, ничего не сказал. Тогда она схватила бюст и принялась напяливать на него сюртук. Бюст был полый внутри, и в эту полость она засунула фалды сюртука – ту его часть, которую необязательно было демонстрировать. Потом расправила сюртук на бюсте, и его плечи даже слегка приподнялись, будто сюртук набросили на плечи человеку. Восковой свечник был одет.

Наступило молчание.

Куртиус сгорбился, и я подумала, что он сейчас упадет лицом вниз. Но он сложил длинные руки на груди и, ни слова не говоря, слегка сдвинул пальцы, раздвинул и снова сдвинул. Непосвященный мог бы принять этот его жест за попытку незаметно сдвинуть пальцами досадную мелочь – муху, или лягушку, или улитку, или шею котенка, но на самом деле это он так аплодировал.

Взгляните на человека без одежды – и вы не разберете, кто он, из какой эпохи, великий это человек или самый обыкновенный. За сотни лет человеческое тело мало изменилось, и во что бы его ни обрядили, под одеждой все тела выглядят одинаково. Но стоит вам надеть

на тело одежду, вы сразу определяете его место и время. У Куртиуса одетый бюст вызвал улыбку. Когда он улыбался, люди обычно отворачивались. Потому что его улыбка производила довольно пугающий эффект: слишком широкая – до ушей – улыбка, обнажавшая плохие зубы с зияющими брешиками между ними, была ни на что не похожа. Многие люди смотрят на чужие улыбки, чтобы по их примеру научиться улыбаться так же, но улыбка Куртиуса возникла сама собой, ведь он жил на Вельзерштрассе в одиночестве и ему приходилось упражняться в улыбке только перед восковыми муляжами внутренних органов. И как же отреагировала вдова на это зрелище? Она взглянула на его улыбку, не отвернулась и, сделав свой вывод, удовлетворенно кивнула. И протянула Куртиусу руку. Мол, плати.

И он ей заплатил.

Но это было только начало. Мало того, что в мастерской с нами постоянно обреталась эта женщина, так еще ее сынок поставил стул в углу и стал там восседать каждый день. Куртиус ничего не сказал. Сидя в углу, Эдмон вынимал из кармана разные пуговицы и молча их изучал с обеих сторон, потом выстраивал в линию на ляжке, и все это он проделывал с пресным, не меняющим выражения лицом.

– Не трогай тут ничего! – наказала я мальчишке, хотя он ни слова не знал на моем иностранном языке. – Ему нельзя тут ничего трогать, сударь, скажите ему!

– Да он же просто сидит, Мари!

– У него что, своих дел нет?

– Разожги огонь, будь добра.

– А как сказать «Не трогай!» по-французски?

Куртиус произнес, и я повторила это многократно, чтобы запомнить. И всякий раз, поднимая глаза, я видела, что мальчик с бледным лицом сидит в своем углу, разложив пуговицы, и глядит на меня, а не на Куртиуса, и я опять говорила ему: «Не трогай!» Только когда к нам приходила его мать, я прекращала давать ему указания. Тем вечером, отправившись спать, я обнаружила нечто ужасное. Я оставила куклу Марту у себя в чулане, усадив на стул, и когда я вернулась, она лежала ничком. Марта, конечно, способна вытворять массу всяких штук, она верная и добродушная, но если уж я ее посадила, то она так и останется сидеть. Она ни за что не ляжет, а будет ждать, когда я сама ее уложу. Значит, кто-то заходил в мою комнатку. Я не нашла волос ни на своей лежанке, ни на полу, из чего заключила, что приходила не вдова, а ее сын. Я крепко прижала Марту к себе. Потом разъяря ее на части, тщательно протерла каждую и снова соединила. Но то была лишь первая в серии катастроф.

Придя наутро в мастерскую, я столкнулась с Куртиусом в дверях. Я рассказала ему о случившемся, и он огорчился за меня, но напомнил, что совсем недавно меня наказали за точно такой же проступок, а еще что мы живем в доме вдовы Пико, где все комнаты – по сути ее собственные.

– Наши изделия очень хрупкие, – заметила я, – и есть люди, которые только и думают, как бы их потрогать.

Куртиус пробормотал что-то насчет того, как в Париже все отличается от Берна, и эти слова должны были бы меня встревожить, должны были бы заставить приготовиться к худшему. И это худшее наступило: Куртиус попросил меня стряпать не только для него, но и для вдовы и ее сына. Тут дверь в мастерскую распахнулась настежь – и я увидела вдову, которая все это время сидела внутри.

– Это неправильно, – увещевал меня Куртиус, – что столь достойная дама так много времени проводит на кухне. Ты видела ее руки? Они такие изящные, но все в синяках и порезах.

– Мне знакомы ее руки, – отрезала я. – Одна из них ударила меня по щеке.

– Но она мне их показывала. Они у нее и впрямь болят.

– Уж это точно, сударь мой.

– Честно говоря, я бы не прочь их вылепить. Она была ко мне добра, и я должен отплатить ей добротой. В Париже все так необычно, и она учит меня выбирать верные пути. Иногда мне нужна направляющая рука. Я ведь легко могу тут заплутать.

– Я стряпаю для вас, сударь. Я работаю на вас.

– Да, Мари, ты мне очень нужна, ты для меня просто благословение небес. Но раз уж ты стряпаешь для меня, для нас, приложи еще чуточку больше сил.

– Но я же ваша помощница.

– Это правда.

– А не ее!

– Но я прошу тебя. А то, что я прошу, тебе следует выполнять.

– Да, сударь мой!

– И не гляди на меня так грустно, никаких слез, ты не должна плакать, от этого у меня болит вот здесь, – и с этими словами он прижал ладонь к груди, к грудной мышце.

– Да, сударь.

С тех пор я стала проводить меньше времени в мастерской, меньше времени с доктором Куртиусом, чего он вроде и не заметил, но чем меньше времени в мастерской проводила я, тем больше там просиживали мать и сын Пико. Вдова приносила туда свои выкройки, и Эдмон тоже занимался своими делами.

Как-то днем, находясь на кухне, я выбрала одно блюдо, очень красивое, покрытое глазурью, с голубым дельфтским узором – я его нарочно выбрала на полке, – подняла высоко над головой и... выпустила из пальцев. А им сказала: случайно вышло.

– Будь поосторожнее, – сказал Куртиус. Он терпеть не мог небрежного обращения с вещами.

– Можно я для вас что-нибудь нарисую, сударь? Что мне нарисовать?

– Сейчас не надо рисовать, Мари. Подмети осколки. Вдова сказала, что, если ты еще что-то разобьешь, тебя высекут.

Я постепенно все больше превращалась в домашнюю прислугу. Как-то вдова приблизилась ко мне, строго сжав губы, обошла вокруг и с помощью своих пухлых пальцев и деревянной линейки сняла с меня мерки. Вскоре я узнала, зачем она это сделала: вдова достала старую одежду своей бывшей служанки Полетты, разрезала ее гигантскими портновскими ножницами по швам и потом, точно мясник, начала отсекал куски ткани, чтобы подогнать останки материала к моему телу. Мне предстояло ходить в колючем черном платье, а еще напялить на себя заношенный белый чепец, к которому прилипли сальные волосы с чужой головы. Вдова приказала мне переодеться. Я убежала к себе и закрыла дверь.



Когда я вышла, все в доме могли увидеть произошедшее со мной преобразование в девочку-служанку. Вдова удовлетворенно кивнула – это было все равно что короткие аплодисменты Куртиуса. Эдмон поглядел на меня, но никак не проявил своих чувств.

– Вдова считает, что тебе повезло с этой одеждой, – заметил Куртиус. – Она очень ловко перешила ее для тебя. Поблагодари ее.

– Чем же мне повезло, сударь? Это платье колется. Можно я его сниму?

Нельзя. Ткань исколола мне всю кожу, оставив красные пятна на шее и плечах. Эта одежда была соткана из скорби: платье выкрасил черным вдовый траур. В нем мне трудно дышалось, и из-за него мне в голову лезли всякие меланхолические мысли. Я горестно думала, уж не своими ли волосами она сшивала обрезки искромсанной ткани, не суждена ли мне самой вдовья доля? Я пыталась дать понять своему хозяину, что все это неправильно, но когда он смотрел на меня, то видел только вдову Пико. Теперь для него весь город уместился в этой вдове.

Доктор Куртиус, из-за своей обездоленности и слепой благодарности утративший способность трезво мыслить, не смог понять всю глубину смысла моей метаморфозы. Он просто

не заметил произошедшего перехода прав собственности, при котором имущество попало из одних рук в другие. Меня сделали домашней прислугой, вынужденной учить слова, которыми пользуются служанки, и этот словарь был убог и ограничен, но Куртиус ничего не предпринял, чтобы этому воспротивиться. У взрослых, как я тогда поняла, масса изъянов, они далеко не идеальны, даже при том, что они прожили дольше, даже при том, что они ставят себя в пример детям. Они крупнее, это не подлежит сомнению, а размер имеет незаслуженный авторитет. Но они легко подвержены внешнему влиянию, их легко склонить в любую сторону.

К тому моменту он уже был полностью ею побежден. Волоски с головы вдовы, думала я, какая-то ее частица проникла в его легкие. Лестью она заставила его смыть с себя грязь, убедив, что он грязен, заставила его надеть на себя новую одежду, а старую сожгла. О, как он оглаживал эти свои новые покровы? Она заставила его чисто выбриться и срезать с головы волосы под корень, а потом напялила на него парик. Она делала его внешность приемлемой – в своих глазах. И как же мой бедный хозяин реагировал на эти посягательства? Я подглядывала за ним в его комнате – с бритым черепом, он ежился, облачившись в новые подштанники, он удерживал свой парик на кончиках пальцев и приговаривал, не без гордости: «Я теперь узнаю вас где угодно. Вы – завитой парик с косой доктора Куртиуса!»



В этом новом парике его можно было принять за кого угодно – за парижанина. А по мне, так настоящего Куртиуса полностью вынули из его тела.

Вдова теперь помыкала Куртиусом точно так же, как раньше им помыкал хирург Гофман. Но только хирург позволял ему куда больше свободы, он никогда не раздевал его, не брил. А он все одаривал вдову улыбками, бедняга. Мои занятия с Куртиусом происходили все реже, а потом и вовсе прекратились. Раньше, когда я просила его рассказать мне про человеческое тело, он усаживал меня рядом и подробно все объяснял. А теперь он лишь приговаривал:

– Потом, Мари, потом.

– Можно я порисую? – спрашивала я.

– Нет времени, – отвечал он.

А если я рисовала и просила его посмотреть мои рисунки, он говорил:

– Мари, ты очень шумишь, а вдова, ты же видишь, дремлет в кресле, прошу тебя, не разбуди ее!

Поэтому я украдкой брала бумагу в комнате у вдовы – это были большие пожелтевшие листы, которыми она не пользовалась, – и упражнялась в рисовании самостоятельно. Я нашла у нее и карандаши и тоже забрала их себе. Я рисовала каждый день без устали. Я вспоминала все, что видела за день, что отложилось у меня в памяти, и по ночам переносила все это на бумагу. Я не могла остановиться. Я рисовала все подряд. Каждый рисунок, каждая подпись к нему были маленьким доказательством моего существования.

Доктор Куртиус частенько выходил в город с вдовой, которая увлеченно показывала ему Париж, а для меня Париж исчерпывался домом покойного портного, рынком поблизости, колодцем да прачками, приходившими к нам раз в месяц. Однажды, возвращаясь с рынка, я заметила в сточной канаве серый холмик, вроде кучи мусора, но подойдя ближе, увидела торчащие волосы. Это была голова, женская голова, серая, опрокинутая в слякоть, – мертвое тело лежало на улице, а люди шли мимо и не обращали на труп ни малейшего внимания. Женщина без признаков жизни, упавшая и никому не интересная, женщина неопределенного возраста, которая совсем еще недавно наряжалась и ходила среди нас. Это Париж, подумала я. Мертвые люди лежат на улицах, и никому нет до них дела. Эта мысль погнала меня к дому.



Я заменила мертвую женщину мертвой крысой

В следующий раз, когда я шла той же дорогой, тело уже убрали, но осталась жуткая темная вмятина там, где оно лежало. Как в Париже принято? Есть тут вообще какие-то правила? В те редкие разы, когда к нам заходил месье Мерсье и заговаривал со мной, я получала от него некоторые разъяснения о парижских нравах.

– Я очень люблю Париж, – признался мне месье Мерсье, – но, сказать по правде, Крошка, он меня жутко пугает. Он разрастается и становится чересчур большим, и его рост не остановить.

Во всякий его приход я просила рассказывать мне, где он был, что видел, и он охотно рассказывал. Я его внимательно слушала и воображала себя на парижских улицах. И видя, что я так сосредоточенно его слушаю, Мерсье проводил со мной больше времени, и пока мы сидели в кухне, описывал наши долгие прогулки. Я брала его за руку, закрывала глаза – и мы бродили по Парижу вместе.

Глава двенадцатая

Париж: прогулка с пояснениями Луи-Себастьяна Мерсье

– Мы вышли к реке, Крошка. Ты со мной? Да, иди рядом. Этот многолюдный мост – жизненно важный орган Парижа, самое сердце города. Он гонит не кровь, а людей. Гонит их по всему городу. Сшибает их с себя куда проворнее, чем они на него ступают. Это Пон-Нёф, самый большой мост Парижа. На этом мосту ты найдешь все типажи: красавцев и уродов, молодых и старых, мерзавцев, убийц, святых, дарящих, берущих, гениев и шарлатанов, новорожденных и скелеты – все тут перемешано. Здесь человеческие существа появляются на свет и отсюда их уносят, здесь спасают жизнь и здесь же забирают жизнь. На этот мост на протяжении всего дня накатывают волнами торговцы песнями. Многие из этих певцов лишены того или иного: кто зрения, кто конечностей, кто рассудка. Они занимают свое место на мосту и затягивают песни, непристойные, медленные, песни, что заставят тебя плакать, песни, что подстегнут тебя пуститься в пляс, песни, которые даруют тебе покой, и песни, что призовут тебя на войну. Эти торговцы песнями повсюду в Париже, ведь Париж – поющий город, но Пон-Нёф – их сцена. Их голоса создают шум на мосту, а мост создает шум города.

Далее мы идем через пляс Дофин. Потерпи немного, Крошка, мы шагаем мимо печальных зданий Пале де ла Ситэ, а вон там, среди этих мрачных громад, виднеется шпиль Сент-Шапель, бесценной шкатулки с витражными стенками. Теперь гляди вперед – там высится Нотр-Дам, собор Парижской Богоматери, но следуй за мной, нам сюда – мимо этих печальных построек, мимо врат горя. Здесь наша следующая остановка. Входи, не робей! Знакомься с позором Парижа. Официальное его название: Отель-Дьё, «Божий приют». Известный также как «Нора смерти». Здесь снуют священники и монашки, разнося заразу от постели к постели, кое-как ставя диагнозы, распространяя инфекции так же, как они распространяют слово Божие. Вот чего смертельно боятся парижские бедняки: этих сырых стен. И вот что говорят друг другу городские нищие: в этой богадельне я кончу свои дни, как и мой отец. И Отель-Дьё не отвергнет их. Сюда нищие приходят умирать. Тут царит отчаяние, и ничего, кроме отчаяния. Иди за мной! Здесь обретается в среднем шесть тысяч пациентов, и хотя их число, разумеется, варьируется в зависимости от времени года, в Париже бывают и сезоны смерти. Здесь шесть тысяч пациентов, но только тысяча двести кроватей. И неважно, каким недугом ты страдаешь, тебя бросят на постель рядом с кем-то, у кого совершенно другая, возможно, чрезвычайно заразная болезнь, и твой сосед по постели, с большой долей вероятности, тебя убьет. Умерших вывозят на тележках при первом проблеске утренней зари или в кромешной ночи, чтобы никто не увидел дневной урожай смерти. Обитель погибших душ! Задержи дыхание, ибо здешний воздух злой и затхлый, а близость реки делает его еще более омерзительным, влажным и тяжелым. Во всей лечебнице нет ни единого сухого уголка. А сейчас прости меня, мне нужно пнуть это здание башмаком, потому что всегда, когда бы я ни оказывался рядом, у меня возникает желание пнуть его своими любимыми башмаками, которые давно к этому ритуалу привыкли. От этого их кожа вся в царапинах, а мои пальцы на ногах – в кровоподтеках, но, несмотря на это, мне обязательно нужно пнуть это проклятое здание. В Париже немало таких же зданий, заслуживающих, чтобы их пинали.

Пошли, я хочу показать тебе еще кое-что. Здесь, в этом небольшом садике – ты чувствуешь? – витает такой смрадный воздух, какого не сыщешь больше нигде в городе, ты можешь увидеть хижину, прилепившуюся к влажной, мшистой стене. Это, возможно, хлев – постройка, больше подходящая для свиней. Или будка для нелюбимой собаки. Эту жалкую хибару я обнаружил как-то во время прогулки. Прошу тебя, не шуми. Загляни внутрь. Теперь я буду шеп-

тать. Внутри этой тесной деревянной клетушки находится один из пациентов этой богадельни. Мальчуган, обернутый грязной рогожкой, дрожащий от холода, вечно что-то бормочущий себе под нос. Ребенок с гигантской головой. Сам же он, ты увидишь, невероятно худ, но из-за гигантской головы его глаза широко раздвинуты в стороны, а щеки подобны двум глобусам, составляющим одну огромную куполоподобную опухоль. Этот ребенок – гидроцефал, он медленно гниет в темноте, жадно грызя кость, которая давно уже обглодана им дочиста.

Обрати внимание на табличку: НЕ КОРМИТЬ. А теперь прошу прощения за вычурную аллегорию. Я называю этого ребенка *Францией*. Его настоящее имя, подозреваю, давно забыто. Франция, ты же понимаешь, – это щедушный ребенок, чье питание поступает целиком в голову, а тело остается слабым и истощенным. Его кормят, но от еды растет только голова, а не тело. Он ест не останавливаясь, и он вечно голоден. Голова Франции растет, а тело голодает. И как долго, по-твоему, он так проживет? Долго ли будет жить наша страна? Шшш, уходим. Пора идти дальше. Не будем здесь задерживаться. Ты ничем не можешь ему помочь. Он так оживился, потому что решил, что ты ему дашь еды. Его не интересуют люди, только еда. Пойдем, от этой темной и тесной лачуги мы поднимемся над Парижем, заберемся высоко-высоко, как только сможем. Ты станешь выше на двести семь футов, а потом, когда лезть выше будет уже некуда, мы посмотрим с высоты на город у наших ног.

Итак, перед тобой собор Парижской Богоматери, Крошка. Это время, застывшее в камне. Величайшая постройка Парижа, самое знаменитое из всех зданий в мире. Мудрейшее и сложнейшее архитектурное сооружение. Не кажется ли тебе, что с этими летящими опорами, торчащими сбоку и сзади, точно множество изогнутых ног, он напоминает гигантского паука, застывшего посреди исполинской и причудливо сотканной паутины Парижа, питающегося его посетителями, что оставляют ему монетки милостыни? Этот собор, в конце концов, – первый заметный объект в этом жутком хаосе. Давай же поднимемся по винтовой лестнице этой каменной цитадели. Я пойду впереди и буду указывать тебе путь за каждым поворотом.

Ты слышишь, Крошка, как эхом отдается мой голос от этих стен? Иногда близко, иногда дальше. Ступени здесь сужаются, лестница поднимается все выше и выше, круг за кругом, до самой верхотуры. Ты можешь видеть в узких закопченных бойницах город, что удаляется под ногами, уменьшается в размерах по мере нашего восхождения. Слышишь, как шумно я дышу, как тяжело клацают мои любимые башмаки о каменные ступени? И ступени теперь все неохотнее позволяют ступать по ним, они выработали свой ритм и хотят убежать ввысь бесконечно, но еще один поворот – и вот мы стоим на самой верхней точке северной башни собора.

Ну вот. Гляди. Вид на Париж с вершины башни. Что тебе сказать? А вот что. Париж расположен посреди Иль-де-Франс, на берегу Сены. Он расположен в сорока восьми с половиной градусов и трех минутах северной широты к востоку от Лондона. Две мили в диаметре, шесть миль в окружности. Если ты присмотришься внимательно, то заметишь, что город имеет форму почти правильного круга. Смотри-смотри, прошу тебя. Париж, ранее называвшийся Лютетия, что означает, ты не удивишься это узнать – город Грязи. Или мы можем его назвать Подземный город. Или, быть может, Лабиринт теней. Или даже Вселенная в миниатюре. Посмотри, это и впрямь так: он живой и весь в движении. Ты можешь видеть его дворцы: вон там дворец Тюильри. Ты можешь видеть его больницы: вон там купола дома Инвалидов. Ты можешь видеть его театры: вон там «Комеди франсэз». И ты можешь видеть его тюрьмы: позади нас жуткие округлые башни Бастилии.

Но что все это значит? Как ты можешь это изучить, как ты можешь все это прочитать, это беспорядочное месиво крыш, это безграничное нагромождение зданий и людей, этот плавильный котел, эту исполинскую сточную яму, эти восемьсот десять улиц, эти двадцать три тысячи домов, где нашли приют семьсот тысяч человек? Все удерживаются в этом городе, сидят под замком, запертым на ключ, и никто не может отсюда выбраться без дозволения – и все они, или

большинство из них, стараются выживать, добиваясь для себя лучших условий в этом общем доме, в этой вселенной Парижа!

Но все же... Увы! Слушай меня внимательно, Крошка! Недавно мне открылась ужасная истина: Париж задыхается. Он не может больше жить, не может дышать, он глубоко вздыхает, но воздух не достигает его окровавленных легких. Тебе хочется задать вопрос, Крошка, я же вижу. Все хотят. Ты хочешь узнать, как люди выносят это место, этот мерзкий дом, эту столицу невзгод. Ты хочешь спросить, как же люди дышат этим отравленным воздухом каждый день. Почему люди живут в лужах мочи, почему они выбирают себе для обитания это средоточие нечистот, почему люди, чьи глаза еще способны узреть свет, заточают себя по собственной воле в этой бездне тьмы? Что ж, я отвечу. Все очень просто. По привычке. Парижане связывают себя со всеми этими пороками, потому что это место, смрадное и гнилое, и есть тот самый ад, который мы зовем своим домом. И мы никогда не покинем его, ибо, невзирая ни на что, мы его любим. Мы его любим. Я его люблю.

Здесь наша прогулка завершается. Я стаскиваю башмак и пускаю его по кругу. Приветствуется любое вознаграждение. У тебя нет денег, Крошка? Тогда подари мне поцелуй, о странное дитя Парижа!

И я целовала Мерсье в щеку, и он уходил, а я оставалась на кухне с закрытыми глазами, воображая себя парящей над городом.

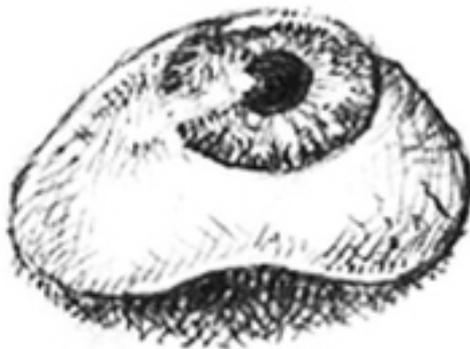
Глава тринадцатая

Я взаперти

Вечерами я рисовала головы рыб, которых покупала на рынке днем. Я рисовала все-все, и моя стопка пожелтевших листов бумаги быстро таяла. Рисунки я скатывала в трубочку и прятала в глубоком ящике кухонного шкафа. Ночью я прокрадывалась в мастерскую и рисовала парижские головы Куртиуса. Мою собственную голову, вылепленную в Берне, давно убрали с полки, завернули в тряпицу и поставили в дальний угол буфета. А я сидела в компании новых восковых людей и чувствовала, что им радостно находиться рядом со мной. Мне казалось, что им хочется поговорить со мной, но они не умели. Восковым головам можно посочувствовать: их никто не рожал, они стараются вдохнуть в себя жизнь, но жизнь от них уворачивается. В самые тихие часы я шептала этим полулюдям: «Я посижу с вами. Вам страшно в темноте? Не бойтесь!»

Живя безвылазно в доме покойного портного в те далекие времена, можно было уловить сначала едва слышный, как бы доносящийся издали, треск, скрип зубцов, шорох гигантского механизма, пробуждающегося к жизни. И требовалось сильное желание слышать эти звуки, потому что никого, кроме вдовы и ее сына с портновским метром в руке да тощего доктора-иностранца и его крошки-служанки в доме, где царил траур, не было.

Портновское ателье Пико в ту пору было небольшим предприятием, непритязательным, не способным привлечь внимание клиентов. Люди находят массу разнообразных способов преуспеть в жизни. В городе работали тысячи и тысячи небольших мастерских. На рю де Шьян, как я узнала от Мерсье, отец и сын выдували стеклянные глаза. Куртиус начал вставлять эти глаза в свои восковые головы. На набережной Морфондю была лавка, где торговали ношенными париками: их Куртиус покупал для своих голов. На рю Сансье работала небольшая мастерская, открытая одной дамой из Тулузы, где делали бумажные цветы – такими вдова украсила ателье Куртиуса, которое теперь называли не иначе как салоном. А в пассаже дю Пти-Муан, в небольшом частном ателье, изготавливали из воска бюсты мелких парижских дельцов. Такими вот разнообразными способами люди старались заработать капитал. Тянулись месяцы. Вдова шила одежду для наших бюстов. Однажды, начищая инструменты, я заметила, как вдова взяла в руки бюст и при этом не переставала что-то безостановочно лопотать. Потом она поставила бюст обратно, но не слишком аккуратно, и тот стоял, слегка раскачиваясь взад-вперед.



Куртиус взглянул на шатающуюся голову и воскликнул – о, этот выкрик прозвучал музыкой для моего слуха:

– Так обращаться с изделием может только мясник!

Ну вот, подумала я, это настоящий доктор Куртиус! Но он внезапно осекся, и лицо его перекосилось от ужаса. Вдова ни слова не сказала, она не поняла выкрика на немецком, но отлично расслышала гневную интонацию – и разрыдалась. При виде ее слез Куртиус тоже заплакался, и вся комната наполнилась их всхлипываниями. Печаль омрачила ее лицо, она задыхалась, сынок тут же подскочил к ней. Портной скончался всего несколько недель назад, напомнила я себе, горе еще не отпустило вдову и еще крепко сжимало ее в объятьях. Больше вдова не выказывала чувств столь откровенно, но в тот момент она проявила свою истинную суть: это была просто обессиленная женщина, всеми силами пытающаяся выжить.

Потом, промокнув слезы носовым платком, вдова огляделась и, заметив мой взгляд, сразу же догадалась, что я поняла, чему невзначай стала свидетельницей. Уголки ее губ опустились, на лице возникло выражение полного понимания ситуации, и было ясно, что отныне я приобрела себе злейшего врага. Ведь я увидела проявление ее уязвимости и слабости. Впоследствии вдова никогда не выказывала пренебрежения к восковым головам. Поначалу она просто старалась передвигаться между ними чуть более опасно, но со временем, должна признать, она стала обращаться с восковыми изделиями даже с какой-то нежностью. Похоже, ей наряду с аккуратностью Куртиуса передались тот трепет, с каким он относился к восковым подбородкам и ушам, и та симпатия, какой он проникался к каждой складке воскового лица. Куртиус обожал веки и губы, он самозабвенно замирал над бровями, испытывал восторг от каждой родинки или ямочки на щеке. Если у его прототипа было два-три волоска между ноздрями и верхней губой, пропущенные брадобреем, Куртиус не забывал добавить их к готовой восковой голове. Его не смущало, если на коже лица, с которого он снимал слепок, были лопнувшие сосуды вокруг носа или такие крупные поры, что их было видно за несколько шагов, и не трогало, если у головы косили глаза или кожа блестела так, что для полного сходства требовалось покрыть воск слоем лака и добиться эффекта испарины, Куртиус любил всех своих заказчиков, какая бы внешность у них ни была. Но из всех лиц, его окружавших, чаще всего он видел лицо вдовы, и вследствие постоянного присутствия вдовы вырос его интерес к ней. И она все это наблюдала и запоминала.

По мере того как она заучивала его приемы, вынуждена сказать с сожалением, его рабочие инструменты все чаще оказывались в полном беспорядке. Возвращаясь в мастерскую, когда только у меня выпадала свободная минутка, я обнаруживала новые и все более явные признаки пугающего развития событий. Ее портновские инструменты, к примеру, лежали на верстаке вперемешку с его инструментами. Сначала она их складывала в сторонке, но потом я заметила, что совершенно разные инструменты, его и ее, сближались для более тесного знакомства. Однажды я даже увидела, как вдова протянула руку и схватила троакар Куртиуса – троакар с прямой рукояткой, предназначенный для глубокого проникновения под кожу и отсасывания гноя из абсцессов, которым мой наставник проделывал длинные ходы в восковых ушах. А вдова вооружилась этим инструментом, чтобы протыкать свой ситец. Но и это еще не все. Я глазам не могла поверить, когда Куртиус заимствовал у вдовы узкие крючки для петлиц и ими проделывал ноздри. Так что, сами понимаете, мне надо было действовать, пока не поздно.

Только я могла им помочь. Только мне было под силу восстановить порядок в доме: следить, чтобы все вещи находились в нужных местах. Это же входило в круг моих обязанностей. Этим я и занялась. Я взяла все ее портновские штуковины и разложила их по порядку в портновском ателье, где им было самое место. И что же, удостоилась я благодарности за мое тщание и прилежание? Нет, конечно. Уж как они жаловались оба, как они негодовали из-за того, что теперь не могут ничего найти. Я такая плохая, сказали они, очень плохая. Вдова даже заявила, что меня надо выгнать, отправить восвояси в Берн за то, что я трогаю чужое имущество, и

меня надо изгнать из Франции, куда меня никто не приглашал и где мне никто не рад. И к кому же я вернусь? Но мой хозяин не собирался со мной расставаться, хотя мое поведение ему и не понравилось. Мне было заявлено, что меня накажут за мои прегрешения. Я уже приготовилась к тому, что меня высекут, и гадала, кто этим займется – Куртиус или вдова. Но меня не высекли. Я бы и не возражала, потому что меня ждало наказание куда хуже, чем побои. Мне запретили появляться в мастерской. Вход туда был мне заказан навсегда. Теперь мне предстояло жить точно в загоне. Я умоляла Куртиуса, но он лишь дружелюбно постучал по моему чепцу и повторил, что решение принято. Это было своего рода прощание. После этого я его видела лишь несколько минут каждый день, и эти краткие встречи проходили, как правило, под надзором вдовы.

Доктор Куртиус многому меня обучил. И он проявлял ко мне любовь. Возможно, думала я, ему не стоило этого делать. Возможно, если бы он не выказывал мне знаки любви, я бы вела себя тихо, я была бы идеальной служанкой, мне бы в голову не лезли лишние мысли. Но он привил мне вкус к работе, к мыслям, к воску – и этот вкус уже было у меня не отнять. Я к нему привыкла. Каждую ночь, когда они спали наверху, я заходила в ателье, и восковые головы рассказывали мне обо всем, что произошло в течение дня. А еще я рисовала. Я доставала его анатомические книги, изучала иллюстрации в них и рисовала. Я мечтала увидеться с Куртиусом и побеседовать, но он перестал заходить ко мне на кухню, один только Мерсье иногда заглядывал, щипал меня за щеку чернильными пальцами, а потом спешил прочь, отправляясь в привычные прогулки по городу.

И вот тот роковой день настал. Я сначала очень обрадовалась, когда в дверь кухни постучали и вошел мой наставник.

– Мари, – сказал он, – у вдовы стали пропадать выкройки, много выкроек. Ты их не видела?

– Выкройки, сударь? Клянусь, я не понимаю, о чем вы говорите.

Вдова была вне себя от гнева. Те самые пожелтевшие листы бумаги, которые я стащила, оказались старыми выкройками ее покойного мужа. И теперь она обвинила меня в том, что я их сожгла. Меня обозвали гнусным иноземным отродьем, которое не знает своего места.

– Мари, – сказал Куртиус с глазами, полными слез, – теперь тебя высекут!

– Нет, сударь, не надо!

А потом преснолицый сын что-то тихо сказал. Три слова, которым меня научил Куртиус. «Я», «взял» и «их». И снова замолк.

Но это было неправдой. Он не брал их. Это же я. И зачем он соврал? Почему он произнес эти слова, после которых в кухне повисло молчание? Вдова вывела сына вон.

– Она должна извиниться передо мной, сударь, – заявила я, еще не веря в свое избавление, но намереваясь сполна воспользоваться этим случаем. – Она должна извиниться!

– Мари, – ответил он, – это я должен перед тобой извиниться. Я был уверен, что ты их взяла. И я очень сожалею.

Но от его слов легче мне не стало. Почему мальчик соврал? Почему? Мне ничего не объяснили. Как-то вечером, поднимаясь по лестнице, чтобы постелить Куртиусу постель, я обнаружила ужасную вещь. Я случайно заглянула в приоткрытую дверь и заметила, что вдова сняла свой капор, и под ним оказалась огромная копна волос. И вокруг этой волосяной горы перемещался Эдмон, старательно расчесывая ее гребнем. Паучьи глаза вдовы были зажмурены. Она пребывала в блаженном покое. Я притаилась в темноте, наблюдая, как Эдмон осторожно расчесывает спутавшиеся пряди, запуская руку по самый локоть в густую растительность на материнской голове. С распущенными волосами вдова, казалось, была сама мягкость и податливость – сродни своей роскошной гриве, которую она надежно упрятывала в течение всего дня, а вечером выпускала на волю, позволив сыну за ней ухаживать. Он проявлял недюжинную нежность, ловко управляясь с волосяным покровом материнской головы, любовно укла-

дывая всю эту уйму длинных локонов, смахивающих на кишки, вокруг ее головы и аккуратно закалывая булавками, чтобы они не выбивались из-под объемного черного чепца. Потом вдова самолично завязала бантиком траурную тесьму под мясистым подбородком, и одновременно с исчезновением ее гривы под головным убором к ней вернулась привычная холодность. Вдова раскрыла глаза, стрельнула взглядом вбок и тотчас заметила меня за приоткрытой дверью. Я бросилась прочь. Ее обильные волосы напомнили мне один персонаж из маменькиной Библии: Марию Магдалину в пустыне.



Расплатой за мое «шпионство» в спальне вдовы («шпионство» – это ее словечко) стало то, что мне больше не позволялось подниматься наверх по вечерам.

– Прошу тебя, Мари, не расстраивай ее, – умолял меня Куртиус.

Мне, кроме того, больше не позволялось убираться в спальню моего наставника, эту заботу вдова теперь взяла на себя. Я превратилась в обычную прислугу на кухне – ну или чуть больше этого. Сидя на кухне, я просто кипела от возмущения. Я возмущалась-возмущалась и наконец, не в силах больше это терпеть, отправилась в ателье и без стука вошла.

– Если я прислуга, то мне надо платить! Ученикам никто не платит, а вот служанкам платят – это я точно знаю!

– Мари, ты что здесь делаешь?

Я прервала беседу Куртиуса с вдовой. По их жестикуляции я поняла, что речь шла о деньгах. И протянула руку. Вдова рассмеялась.

– Нет денег? – спросила я.

– Видишь ли, – ответил Куртиус, – я хочу тебе платить. И когда-нибудь я тебе заплачу. Но сейчас у нас денег в обрез. Позже у нас безусловно появятся деньги. Но не сейчас. А пока, Крошка, тебе платят едой и жильем.

– Мне должны платить! – не унималась я. – Я в этом уверена.

– Возможно, ты права. Я не знаю, как это принято в Париже. Все будет хорошо.

– Точно?

– О да!

Вдова что-то проговорила. Куртиус чуть улыбнулся.

– Э-э... Мари, думаю, тебе надо уйти.

– Сударь, вы именно так думаете?

– Э-э... да, Мари, да.

– Тогда я ухожу.

Но в том доме мне было некуда идти. Только на кухню. Если я уйду из дома, что станется со мной? Похоже, у меня не было иного выбора, кроме как оставаться там, это был мой единственный выбор в жизни. А иначе я могла просто упасть бездыханной, как та мертвая женщина в уличной канаве. И кроме того, я не могла сбежать от своего наставника. Разве он без меня справится? Вдова же его просто проглотит заживо. И переварит.

Глава четырнадцатая

Два Эдмона на кухне

Стоя на кухонном табурете, я сдирала шкуру с кролика и, наверное, была очень сосредоточена, потому как внезапно услышала шорох. И поняла, что не одна. За моей спиной стоял сын вдовы: он долго смотрел на меня, пока я не оглянулась.

– Не трогай! – произнесла я на его родном языке. И после паузы добавила: – Благодарю!

И заметила, как его уши тотчас покраснели. У него были, теперь я должна сказать, самые выразительные уши, какие я только видела в жизни. Его лицо всегда оставалось бледным, на нем ни один мускул никогда не дрожал, а вот уши багровели. Помолчав, мальчик едва заметно кивнул, словно долго обдумывал нечто очень серьезное и наконец пришел к какому-то выводу. Он сунул руку в карман, порылся там и выудил истрепанную куклу, сшитую из холстины.



– Эдмон, – произнес он, ткнув пальцем в куклу.

– Эдмон? – переспросила я, указав на куклу.

– Эдмон, – повторил он.

– Эдмон? Эдмон и Эдмон?

Он кивнул. Мальчик назвал холщовую куклу в свою честь. И кукла эта, как я заметила, была близкой родственницей портновского манекена, изготовленного в виде покойника-портного. Ага, значит, в мрачном доме Пико семейные типажи имели свои дубликаты. То есть тут обитала семья во плоти, но еще и вторая семейка – из холстины. Поначалу это холщовое семейство оставалось незаметным. Холщовые люди держались особняком, не бросаясь в глаза, сбившись в угрюмое печальное племя. Но со временем их грубый материал заявлял о себе, становился явственным, проступал сквозь небрежно очерченные человеческие формы едва слышными вздохами. Холщовые люди заполняли пустое пространство. Человеческие чувства, сшитые из лоскутков, надежды, таящиеся в полумраке. Мне показали холщовую копию Эдмона – сына портновского манекена. Я молча смотрела на куклу.

Потом, подумав, вымыла руки, после чего аккуратно вынула свою.

– Марта, – представила я ее Эдмону. Эдмон уже видел ее раньше, но не знал, как ее зовут.

Я положила Марту на стол. А он бережно положил рядом Эдмона. Кукольный Эдмон был сшит из десятка или дюжины разных кусочков холстины, в основном серого цвета, туго обернутых толстыми нитками, так, чтобы холщовое тело не развалилось. Его туловище состояло из вырезанных или вырванных кусков ткани, и я так и не поняла, где у него руки и ноги. Куклу много раз ремонтировали, судя по множеству ниток и новых лоскутков, прилатанных поверх старых. Миниатюрный холщовый мальчик, хранитель домашних секретов, крошечный человек, о ком надо беспокоиться и с кем можно шепотом беседовать. Мы сидели за кухонным столом, я глядела на кукольного Эдмона, а живой Эдмон смотрел на мою Марту, и так продолжалось до тех пор, пока живой Эдмон не вернул кукольного Эдмона в карман, встал и, ни слова не говоря, вышел за дверь. Я осознала всю важность этой встречи. Он полностью открылся мне единственным доступным ему способом: с помощью влажной и мятой холщовой куклы. Это был первый визит Эдмона на кухню.

Потом всякий раз, когда его мать уходила из дома, бледнолицый молчун навещал меня. Эдмон приносил с собой пуговицы, чтобы чем-то занять себя, выстраивая их в шеренги на своей коленке. Поначалу он не произносил ни звука. Я пыталась его нарисовать, но как только карандаш касался бумаги, чтобы по своему обыкновению начать портрет с носа, я смущалась, потому как в его носе не было ничего примечательного, как и в глазах, да и в губах, – только в его ушах, когда они краснели, было нечто особенное.



Сначала я опасалась, что в холщовом дубликате индивидуальность выражена лучше, чем в живом мальчике. Но чем больше я на нем концентрировалась, тем больше проявлялся его характер – так жук-точильщик появляется лишь после того, как разлетятся все остальные насекомые, кружившие над трупом, а ты остаешься в одиночестве на ночное бдение. Однажды я ухватила его скрытый характер, поймала-таки его карандашом, а потом уж разглядела очень отчетливо – словно он был загадкой, которую я сумела разгадать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.